

ГРАНИ

GRANI

127

1983

Verlagsort: Frankfurt/M, Januar-März

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D - 6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



«Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее; ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть — совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову — Слову Правды».

Е. Романов. «Вместо программной статьи»,
«Грани» №1, июль, 1946.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXVII

№ 127

1983

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Давид МАРКИШ — Шут, или хроника из жизни прохожих
людей. Главы из романа 5
Юрий КУБЛАНОВСКИЙ — Памяти Беломорья... 58

ИСТОРИЯ

- Проф. С. Г. ПУШКАРЕВ — О свободе и самоуправлении
в России. Часть 2 64

ВОСПОМИНАНИЯ

- А. АВТОРХАНОВ — Мемуары 117

ДОКУМЕНТЫ

- Н. РУТЫЧ — К опубликованию воспоминаний депутата
Государственной Думы Н. В. Савича 155
Н. В. САВИЧ — Воспоминания. Часть I. Государственная
Дума 171

НОВЫЕ КНИГИ

- Ф. Закаржевская. В поисках Правды 300

Обложка работы художника Н. Мишаткина

© 1983 by Possev-Verlag
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main
Издательство «П о с е в»

Шут, или хроника из жизни прохожих людей

1. ШАПКА. 1689

В Панских рядах московского Китай-города не шляхетской честью торгуют; а торгуют там тканью и мехом, одежкой и колотыми дровами, санями и телегами без учета сезона (добрый хозяин готовит сани летом, а телегу — зимой), вином из-под полы и пирогами с лотка, и еще чем придется и что Бог на душу положит: вилами, сыромятиной, овсом, огненным зельем и зельем приворотным в тряпице, сушеной ногой песчаного крокодила, излечивающей от дурной болезни. Когда-то, в давние времена, здесь, передают, вели торг истинные поляки с усами и в кунтушах, а нынче одно название осталось от тех времен и торгуют в рядах русаки и татарва, жида и саможратцы, и жмудь болотная — все вперемешку; но иногда встречаются и полячишки.

Место здесь бойкое, ходовое: еще при Лжедмитриях, в Смуту, прибрали поляки это место к

Публикуя журнальный вариант отдельных глав нового романа Д. Маркиша из эпохи Петра I, ставящих целый ряд проблем, до сих пор совсем не освещенных в литературе, редакция считает необходимым подчеркнуть, что ей известны стихи автора, напечатанные им десять лет назад, в 1973 году, — сразу после его приезда из Советского Союза, — дух и содержание которых были и остаются для нашего журнала неприемлемыми. — Р е д.

рукам, да так оно с тех пор от рук их до конца и не отлипло. Виден отсюда Кремль, и Василий Блаженный на площади, и людские толпы после дурманного зрелища утренней казни и смертной муки оттекают от Лобного места к Панским торговым рядам: раз уж притопали ни свет ни заря со всех концов Москвы и близлежащих деревенок глазеть на палаческое мастерство, то стоит и на базар заглянуть, благо он рядом, поглазеть на товары да на купцов, купить гвоздей, пожевать горяченького... Нет лучшей рекламы базару, кабаку или бардаку, чем пыточная площадь, расположенная по соседству: вид чужой муки и смерти понукает поскорей тратить деньги, пить и гулять.

Лавка Евреинова стояла недалеко от центра рядов — одна из богатых лавок богатого купца; одежда мужская, женская и детская, полотняная и суконная, шелковая и бархатная, с золотым и серебряным шитьем и простая, вовсе без шитья, была аккуратно разложена внутри просторной крепкой лавки и навалена соблазнительным ворохом на прилавке у входа для оглядывания и ощупывания прохожим базарным людом. При прилавке, впереди и сбоку от него, неотлучно находился сиделец — малого роста и тучного сложения, с быстрым взглядом ленивых глаз молодой человек по имени Петр Шафиров. Ни соработников, ни помощников не было у него в лавке: он управлялся один. Купец Евреинов отдавал должное коммерческим и прочим способностям этого молодого человека, и не без оснований: Шафиров твердо знал счет и итальянскую бухгалтерию, свободно говорил по-английски, по-немецки и по-голландски и ни разу еще не был пойман на воровстве.

Одет сиделец был скромно, но далеко не нище: в просторный мешковатый кафтан коричневого

сукна, из-под которого выглядывали темно-синие штаны, заправленные в кожаные сапоги, знававшие лучшие времена. Лениво поглядывая на зубцы кремлевской стены и на сверкающие морозным золотом купола Ивана Великого, Шафиров постукивал озябшими ногами по не оттаявшей еще вглубь земле, по жирной, весенней, убитой тысячами лаптей, сапог и голых пяток глине, перемешанной с конским навозом, соломой и опилками. Апрель выдался в этом году свежий, с холодными по-мартовски утрами и вечерами. Надо бы зайти в лавку, накинуть на плечи тулупчик, да не хочется трогаться с места, отрывать взгляд от врезанных в нежную синь красных крепостных зубцов. Вот так стоять на холодном ветру, на солнышке — и думать, а как бы и не думать... С утра выучил двадцать французских слов, надо выучить еще двадцать... Сегодня на Красной площади одного разбойника сажают на кол, другого дерут кнутом, и еще одну бабу закапывают живьем, — значит толпа будет большая и люди явятся на базар через час, не раньше... Интересно, правда ли, что царь Петр уже четвертый день не вылезает от Монсиhi, из Немецкой слободы, и к молодой жене не ездит. Не зря ж ее, Монсиху, так и прозвали: Петровские ворота.

Прохладно, прохладно, так и лихорадку схватить недолго... Шафиров поплотней запахнул кафтан на груди и, с подозрением глядя на невесть откуда явившегося разбитного торговца пирогами, ждал, когда пройдет он мимо прилавка с одеждой: пальцы у него жирные, да и на руку он, скорей всего, нечист. А пирожник, ухмыляясь вполрожи, не спешил проходить. Скача в своих лаптях по лужам и далеко разбрызгивая грязь, то ли пляша, то ли просто для согрева, он одной рукой отбивал дробь о дощатую стеночку лотка, повешенного на шею, а

другой придерживал дудку, сунутую в рот. Поймав беспокойный взгляд Шафирова, лотошник выплюнул дудку и, скача и паясничая пуще прежнего, запел, затараторил скороговоркой: „Кому сапоги, а кому и пироги! С пылу, с жару, берите пару! А ежли к ужину, то берите дюжину!”

Нарочно, что ли, он расплясался прямо посреди лужи, этот проклятый лотошник! Тяжелые брызги грязи из-под лаптей летели во все стороны, черная густая жижа легла строчкой на полу бархатного кафтана, выложенного на прилавке.

— Ну, ты! — прошипел сквозь зубы Шафиров и тяжело двинулся на плясуна.

— Вот он я! — пропел лотошник и одним скачком вымахнул из лужи. — Берешь, что ли, пироги? Вот с зайчатиной, с собачатиной, с кошатиной, с лягушатиной! Запьешь водкой — проскочат в глотку! А запьешь водой — будешь весь свой век худой!

Выйдя из лужи и обтряся грязь с сапог, Шафиров прислонился спиной к прилавку. Он терпеть не мог людей, шумно веселящихся ни с того ни с сего, без всякой на то причины. Этот шалопай с дудкой, худой и оборванный, вызывал в нем омерзение. Такой и в карман залезет, и по морде даст ни за что ни про что.

А шалопай меж тем продолжал скакать, теперь уже посуху, и свистеть в дудку, и ротозеи высовывались из лавок и глазели на дурака. Шафиров с досадой плюнул в лужу и отвернулся.

— Если в речке нет воды,
— держа дудку на отлете, запел лотошник, —
Значит, выпили жиды.
Жид, жид, жид жид
По веревочке бежит.

Шафиров никак не реагировал на припевки оскорбителя: даже кривой без труда признал бы в мо-

лодом сидельце еврея, и никакие рассказы о крещении папаши не исправили бы положения, а только бы его усугубили. В таком случае следовало молчать и не обращать внимания, по мудрому совету того же папаши Павла Филипповица, бывшего Пинхуса. Да и сам юный Шафиров чувствовал себя более евреем, чем православным христианином, хотя и не придерживался строгих и обременительных правил старой религии своего отца. А папаша, запирая по субботам дверь на большой замок, накидывал на голову белый платок с черной каймой и, оборотясь к стене, молился старому, испытанному Богу. И отец, и сын прекрасно понимали, что креститься следовало, что без этой процедуры нечего было и думать о каком-либо продвижении в Москве, куда Павел Филипповиц, в то время еще Пиня, прибыл из польского Смоленска. А о продвижении Шафиров-сын думал, думал трезво и неотступно, прикидывал и так, и эдак, взвешивал свои и чужие возможности, учитывал и свое написанное на лице еврейство, и папашино крещение, и свое знание языков, и папашины связи в Посольском приказе, где он служил переводчиком книг и документов, и, в особенности, неприметные, но крепкие торговые связи Веселовского, теткиного мужа. Так что свое сидение в лавке купца Евреинова Петр Шафиров считал делом хотя и бесполезным, но сугубо временным — до счастливого случая. Заставить его забыть об этом, вывести его из себя не могли ни дурацкие припевки лотошника, ни какие другие припевки. И, как бы там ни было, припевщик обут в лапти и одет в драную сермягу, а он, Петр Шафиров, разгуливает вдоль прилавка в сапогах и в кафтане. Не следует этого упускать из виду и ставить себя на одну доску с оборванцем.

А оборванец, нагло подмигнув Шафирову на

прощанье, пошел, наконец, приплясывая, своей дорогой, и из конца рядов донесся его высокий, переливчатый голос: „Мужики крещенные, вот пироги печеные! С пылу, с жару — берите пару!”

— Ему бы офицером быть с такой глоткой, — подумал Шафиров и, сняв с прилавка забрызганный грязью кафтан, пошел в лавку — чистить.

Он уже старательно отскреб, оттер грязь, когда то ли легчайший шорох, то ли чиркнувшая по прилавку тень заставила его выскочить из лавки вон с резвостью, неожиданной для его сложения. Давешний лотошник на вертлявых ногах поспешно, с оглядкой отходил от прилавка. Он не пел, не свистел в дудку; на круглой его башке ладно сидела новенькая заячья шапка-треух.

Мельком взглянул на пустое место на прилавке, где только что лежала эта самая шапка, Шафиров взревел принятое в таких случаях „держи вора!” и ринулся на лотошника. Лотошник, несомненно, не исключал такой возможности и был к ней готов: ловко увернувшись от бежавшего, как конь, Шафирова, он скакнул в самую середину обширной лужи и завопил из воды на все ряды:

— Эй, люди добрые! Жиды русского человека заправили, кровь нашу сосут! Сюда, люди! Спасайте! Пожа-а-ар!

Лотошник рассчитал верно, и Шафиров, остановившись на миг, прежде чем последовать за вором в лужу, отметил этот удачный расчет своего врага: заслышав про пожар, народ побежит сюда со всех концов рядов, и скрыться в толпе, настроенной враждебно к чернявому сидельцу с горбатым носом, русскому пареньку будет нетрудно.

Люди, действительно, прибывали поспешно и деловито, окружали лужу тесным кольцом. Шафиров, шагнув в грязь, протянул было руку, чтобы сорвать

с вора шапку — но тот вертелся перед ним, выставив вперед лоток, и выкрикивал нараспев, под ободрительный гул публики:

— Я веселый честный парень,
Не хохол и не татарин,
Не жидовин и не пшек,
А чисто русский человек!

Евреиновская шапка была близка, но достать ее мешал лоток. Шафиров, вцепившись в бортики, дернул с силой. Зашейный ремень отскочил, пироги посыпались в грязь. Толпа сердито заворчала. Длинно размахнувшись, лотошник, целя в голову, ударил — но сиделец подвел под удар круглое плечо, и лотошников кулак угодил как бы в конский бок. А Шафиров, сведя руки в замок, двинул вора под ребра, и это было похоже на удар небольшим бревном.

— Наших бьют! — закричал лотошник, лягнул, откинув назад длинное тулово, сидельца под низ живота, бросился к прилавку и одним широким движением смел наземь кафтаны и капоты, шапки и поддевки и порты. — Люди честные, за дело: налетай, подешевело! Завсегда простой народ, чего надо, то берет!

Народ, возбужденно урча, надвигался. Опередив передних, Шафиров, согнувшись в поясе, сгребал одежду с земли и швырял ее в открытую дверь лавки. Лотошник, подбежав, со всего маху вклепил ему ногой по задку. Тяжелый Шафиров не упал, а только покачнувшись и, повернувшись резко, одной рукой схватил лотошника за горло, а другой сдернул с него шапку и сунул ее себе за пазуху. Теперь, вернув украденное у него, он чувствовал себя спокойнее и уверенней.

Лишившись и пирогов, и шапки, неудачливый вор, напротив, рассвирепел. Облепив Шафирова

гибкими мускулистыми руками, он сделал ему подножку, толкнул, они упали на землю и покатались, поочередно подминая один другого, перед ногами толпы. Народ, сосредоточенно сопя, наблюдал за дракой. Симпатизировали увертливому, атакующему русскому, но и еврею отдавали должное за его волчью хватку и упрямство. Показалась уже первая кровь.

Двое мужчин, один молодой, но старше дерущихся, другой уже в годах, оба в немецком платье, стоя в стороне от толпы, наблюдали увлеченно. Молодой, на полголовы длинней своего рослого товарища, сосредоточенно обкусывал ноготь большого пальца. В правой руке он держал, уперев ее концом в носок башмака, тяжелую трость с узорным серебряным набалдашником, могущую сойти при нужде и за ослоп.

— Ставлю дюжину ермитажа, — с сильным французским акцентом сказал старший: — оборванец победит. У него просто нет другого выхода. Если он будет бит, ему припомнят и шапку.

Не слушая, молодой дернул головой на длинной, еще по-мальчишески тонкой, не набухшей сильным мясом шеей — и тут же подскочил к нему и застыл за спиной, сбоку, плечистый детина в ладно подогнанном армяке.

— Кто это? — не отводя глаз от дерущихся, спросил молодой.

Плечистый детина, согнув ноги в коленях и одновременно привстав на цыпочки, подобострастно дыхнул молодому в ухо:

— Жид — сиделец купца Евреинова. А вор покамест еще неопознан. Прикажете брать, ваше величество?

— Ишь ты, жид, а за чужое добро дерется... — пробормотал молодой. — Разнять! Привести ко мне!

Плечистый детина, а за ним двое в таких же армяках, растолкав толпу, кинулись через лужу к дерущимся.

— Ты прав, ваше величество, — сказал Франсуа Лефорт, когда они, широко шагая, вышли из рядов. — Так и надо подбирать слуг: по двое. И чтоб один с самого начала ненавидел другого. Лучше будут служить.

— Возьми их сначала к себе, погляди, — сказал Петр. — Они могут пригодиться, Франц, душа моя: один — веселый и наглый, другой — упрямый как чёрт. А? Возьмешь? — Петр глядел на него кругло, пристально, как будто бы допускал и отказ.

— Возьму, — без поспешности согласился Лефорт. — Отчего ж не поглядеть.

— А если что не так и окажутся неспособны, — Петр со свистом рассек воздух тростью, — чего же проще? Одному причитается кнут за воровство, а и другому дадим за компанию, чтобы первому не обидно было.

— Они получают битье не за воровство и не за компанию, сердечный друг, ваше величество, — сказал Лефорт и взглянул на Петра сбоку: слушает ли, серьезен ли, — а за то, что ты, возможный случай, в них ошибаешься. Государям позволительно ошибаться, но наказание за ошибку должны принимать слуги. Это — закон!

— Верно, душа моя, как верно! — сказал Петр и улыбнулся благодарно. — Государь ставит опыт, полезный для отечества эксперимент, непременно полезный. Не все сходится, ничего не подогнано поначалу, да и подручный материал — сырье, а то и гниль. Так не экспериментатору же себя за это казнить! Или вовсе отказываться от опыта! Когда рубят дрова, дереву больно, зато топору — жарко.

Лефорт согласно покачивал головой, но молчал. Он хорошо знал царя и знал, что возражать ему можно до определенного предела. Но он никогда не читал и не слышал, чтобы какой-нибудь государь считал свой опыт вредным для отечества. Затем он подумал о том, как было бы хорошо и замечательно умереть ему, Лефорту, в своей кровати, в собственном доме в Немецкой слободе — хотя бы за год-другой до окончания всех царевых затей и экспериментов. Шансы у Лефорта получались неплохие — он был старше Петра на двадцать три года. Умереть спокойно, не на плахе, — а там пусть они сами разбираются во всем этом варварском машкераде.

— Твой опыт, государь, сделает Россию великой, — глядя прямо перед собой, сказал Лефорт. — А если этого оборванца вместе с евреем выдерут кнутом, — ну, что ж, пусть они покричат и поплачут.

Схваченные царской тайной охраной, еврей и оборванец покамест не плакали и не кричали; оборванец думал о побеге, еврей — о заступничестве Веселовского, двоюродного дяди. Охранники, однако, глядели зорко, и кулаки у них были тяжелые: не успел оборванец, переступая лужу, шагнуть в сторону, как получил полновесный, да еще с довеском, удар по шее. Выведя арестованных с базара, охранники связали им руки за спиной и посадили в ожидавшую телегу, запряженную сильной серой лошадью. Сена в телеге не было, сидеть там, с опутанными руками, было неловко и жестко.

— Гад ты, — цыкнув за борт телеги розовой слюною, сказал оборванец. — Это из-за тебя все... Лоток сломал, пироги все рассыпал! А теперь...

— А теперь кнут: не воруй, — мрачно перебил Шафиров. — И ноздри вырвут.

— Не воруй! — возмущенно выкатил голубые,

выпуклые глаза оборванец. — Да ты кто такой, чтоб мне указывать: воруй или не воруй! Это чтобы всякий жид мне указывал...

— А меня отпустят, — монотонно продолжал Шафиров, — а тебя в рудники сошлют. Пускай я буду жид — а ты холоп, голь пустая.

Оборванец, коротко засипев, подался к Шафирову, норовя пихнуть его плечом.

— Ну, вы там! — оборотился к ним кучер. — Ша как дам кнутом! — И, правда, перетянул их одним ударом, но не во всю силу, не с полного размаха. Шафирову, сидевшему ближе к облучку, меньше досталось.

— По сравнению с жидом русаку всегда хуже, — спокойно объяснил несправедливость оборванец. — Тебе, вон, в кафтане и вовсе не больно. Кафтан у купца украл, или как?

Шафиров не ответил. С беспокойством и страхом наблюдал он за тем, как кучер свернул от Кремля и его приказов, и телега загромыхла по направлению к Немецкой слободе.

— Куда это везут-то? — озаботился и оборванец. В те времена не было еще в Немецкой слободе тюрьмы, названной именем женевского авантюриста Франсуа Лефорта.

— В Язуз тебя кинут, и все, — предрек Шафиров. — А меня отпустят.

Он, действительно, чувствовал некий внутренний подъем, как перед трудным, изнурительным испытанием, на котором надо до капли, до изнанки себя показать. Везут к немцам? Ну, что ж, они набирают силу, сам царь им ход дает... Шафиров знал, что кончилось его сидение в еврейновской лавке.

Их привезли на чистый, тщательно выметенный и прибранный двор большого и тоже очень чистого, аккуратно выкрашенного голубою краской дома

с застекленными окнами, за которыми виднелись клетчатые занавески, распушенные вверх и собранные по бокам книзу. Подталкивая в спину, чуть не бегом провели их по двору и втокнули в высокий каменный сарай, и заперли за ними дверь. Они разошлись по разным углам и молча наблюдали друг за другом.

Не прошло и четверти часа, как брякнул замок, и в дверь протиснулся давешний детина. Не говоря ни слова, он распутал им руки и, подтолкнув их друг к другу, отошел в сторонку. И вслед за тем, пригнувшись, шагнул через порог Лефорт и, придерживая дверь, пропустил царя.

— Ну, кто победил? — резко остановившись посреди сарая, спросил Петр.

— Я! — крикнул оборванец и грохнулся на колени.

Недолго подумав, опустился на колени и Шафиров.

— Он победил в скорости ответа, — сказал Шафиров. — На базаре я бы задушил его до полусмерти, потому что я тяжелей примерно на полтора пуда.

— Врешь, свиное ухо! — закричал оборванец. — Я б те и полумертвый глотку перекусил!

— Почему ж только до полусмерти? — с интересом спросил Лефорт.

— За смертоубийство полагается слишком тяжелая кара, — охотно объяснил Шафиров. — А я еще не успел выучить французский язык.

— Ты знаешь языки? — быстро спросил Петр.

— Жидовский он знает! — вставил оборванец.

— Знаю и жидовский, — согласился Шафиров.

— А еще? — нетерпеливо спросил Петр.

— Голландский, английский, немецкий. Еще польский.

— Похвально... Ну, а ты? — Петр концом трости ткнул оборванца в плечо. — Шапку украл?

— Я сам московской породы, — запричитал, заелозил на коленях оборванец, норовя поцеловать Петра в башмак, — пожалейте мои молодые годы! Я беру, а не ворую, пирогами торгую, а он мой лоток сломал.

— Дальше-то чего скажешь? Не придумал еще? — усмехнулся Петр. — Звать тебя как?

— Алексашкой поганым тятя обзывал, когда розгами сек, — притворно хлюпнул носом оборванец.

— Мало сек, — убежденно заметил Лефорт.

— Ой, много! — живо возразил Алексашка. — Лютый был человек тятенька мой Данила Меншиков, царство ему небесное.

— Вы меня боитесь? — вдруг спросил Петр, глядя поочередно то на одного, то на другого.

— Очень! — за двоих ответил Алексашка.

— А почему? — спросил Петр.

— Вы сами такие молодые, а такие страшные, — объяснил Алексашка. — И палка вон какая. Прямо жуть!

Теперь Петр глядел на Шафирова.

— Гневен господин, — тихо сказал Шафиров. — Но не гнева его я боюсь — боюсь чем не угодить ему, не приведи Бог...

— Вот ваш господин, — сказал Петр и указал на Лефорта. — Ему будете служить. А если ты, — он протянул трость к Шафирову, — соврал насчет языков — твой вырву!

Круто повернувшись на каблуках, Петр шагнул к двери и распахнул ее ударом ноги. Лефорт вышел за ним следом.

— Это кто будет? — сразу осмелев, спросил Алек-

сашка у отлепившегося от дальней стены детины.

— Офицер, что ль?

— Царь Петр, дурак, — сказал детина, проходя.

Шафиров улыбнулся счастливо.

2. МАНЕВРЫ. 1697

Цыклеру отвратительно было сидеть в Таган-Роге, на краю земли; сидя там и распоряжаясь строительством гавани, он полагал, и не без оснований, что следующим назначением будет совсем уж тупик, сибирская глухомань... Прослужив тридцать лет русскому престолу и дослужившись до звания стрелецкого полковника, Цыклер понимал, что карьера его, начавшаяся так удачно, кончена: царь Петр не забыл ему тайных связей с покойным Иваном Милославским и с мятежной царевной Софьей. А связи, если разобраться, были вполне объяснимые: Софья обещала полковнику Цыклеру многое, Петр — ничего. И вовсе тут ни при чем Петрова любовь к немцам и немецкому (сам Цыклер родился, как-никак, не в Калуге, а в Гамбурге) и приверженность Софьи русской старине. Цыклеру одинаково безразлична была и русская старина, и русская новизна. А вот то, что какой-то Лефортишка, пьяница и сводник, щеголял в мундире генерал-адмирала, сильно его раздражало. В конце концов он, Цыклер, мог пить не меньше Лефорта, не говоря уже о том, что вместо одной Анны Монс готов был пригнать царю Петру целую дюжину крепких и чистых немецких девок. Но фортуна не благоприютствовала Цыклеру: он сидел в Таган-Роге, а Лефорт строил себе дворец в Немецкой слободе. И это было отвратительно и обидно до возмущения крови.

„Бойтся, — рассуждал Цыклер, одиноко сидя в Таган-Роге, в крепкой избе, — бойтся меня царь

Петр, потому и держит за тридевять земель от Москвы. Понимает царь: Цыклер — не старый дурак Авраамий, Цыклер писем писать не станет, не станет учить; 'Не предавайся, царе, утехам непотребным, не ходи в Немецкую слободу, слушай совета матери, да жены, да бояр'... Вот и дописался старец Авраамка, досоветовался: подняли его на дыбу в Преображенском приказе да все жилки по одной и выдрали, а царь Петр еще и поучал: 'Гляди, старый, вот это твоя центральная жила, а вот эта вспомогательная. Гляди лучше, может, перед смертью и научишься анатомиям' ”.

Старые друзья Цыклера, не удаленные покамест из Москвы, — окольничий Алексей Соковнин, боярин Матвей Пушкин и татейных дел подъячий Сильвестр Полтина — сообщали через верных людей, что царь собирается с поганым Лефортишкой, да с жидом Шафировым, да с похабным Алексашкой Меншиковым и еще чёрт-те знает с кем ехать к немцам и голландцам учиться и набирать новых людей, и после этого посольства первым делом всех заслуженных людей, как Цыклер, выгонять со двора. Еще сообщали, что любопытством Петра шведы весьма недовольны и что царевна Софья ему, Цыклеру, доверяет всячески и всецело.

Доверье Софьи означало признание заслуг и грядущую награду и, кроме того, было приятно чисто по-человечески. А под отплатой за доверье подразумевалось, проскваживало между строк и между слов вот что: „Полковник Цыклер, убей царя, сорви посольство!“ — адресат понимал это и принимал безоглядно: не ему первому предлагали, да и ему — не впервой. Первым не повезло: мясо с их голов, насаженных на кол, склевали московские вороны. Повезет последнему, удачливому.

Не вчера начались, пошли толки о том, судьба ли,

случай или стечение обстоятельств направляют ход человеческих замыслов, — и не завтра кончатся. Почему тот убит и гниет в земле, а этот жив, в славе и кум королю? Кто знает... Цыклер наметил, где, когда и как убить царя Петра и, тайно все это спланировав, располагал изрядными преимуществами перед избранной жертвой. И, однако же, был схвачен, пытан страшно, признался во всем и выдал всех.

Дознанием руководил Петр — азартно, безжалостно и кроваво. Себе в помощники он взял Степана Медведя по кличке „Вытащи” — кнутмейстера и шута, человека не совсем нормального, переходившего от ничем не вызванного, необузданного веселья к изощренным пыткам над жертвами... С ним, с Вытащи, легкий на язык Петр почти никогда не вступал в разговор — зато внимательно наблюдал его со стороны, изучал, как изучал почти все и всегда в жизни, и молча, с переменным успехом играл в шахматы.

С палаческим ящичком под мышкой явился Вытащи к Петру в Преображенское. Молодой царь был не совсем трезв; он пуще обычного дергал щекой, дергал головой на сильной, мускулистой шее.

Толкая Вытащи в спину, Петр погнал его в подвал, в пыточный застенок. Там, у дальней стены большой, глухой комнаты, висел на дыбе Цыклер. Тело его обмякло, руки, прикрученные к поперечине дыбы, вышли из плечевых суставов. Деловито обойдя пытаемого, Вытащи взглянул на Петра вопросительно...

Петр выполнил свое обещание, и не без выдумки: гроб с телом боярина Ивана Милославского был выкопан из земли, открыт и на мусорной те-

леге, запряженной шестеркой свиней, доставлен в Преображенское. По бокам от процессии бежали, ударяя в бубны, четыре придворных карлы, двое из них — арапы. Бежать пришлось долго, карлы устали, спотыкались и падали. За телегою ехал в открытом возке хозяин тайного розыскного приказа шутейный князь-кесарь Федор Ромодановский, с лицом монстра, с выпученными глазами и торчащими усами, пьяный. Перед возком размашисто шагал шут-кнутмейстер Вытащи, погоняя усталых карлов кесаревым посохом с набалдашником в виде козьей морды. Вся процессия была густо окружена солдатами-преображенцами и жадными до зрелищ людьми.

Сочинитель сценария царь Петр ожидал кортеж в Преображенском, близ эшафота, в настиле которого к этому случаю были вырезаны желоба и прорублены дырки. На эшафоте, на колесе, насаженном на заостренное кверху бревно, с перебитыми руками и ногами лежал Цыклер. Он лежал лицом вверх и слабым уже, мерцающим разумом старался понять, день на дворе или ночь, яркая ли луна светит в небе или негреющее солнце. Он был еще жив, и это было ему горько.

Появление мусорной телеги с гробом толпа вокруг эшафота встретила криками. Карлы, ругаясь, полезли на дерево, в устроенную специально для них в кроне птичью беседку. Свиньи вкатили телегу под эшафот; там их, наконец, выпрягли.

Помощник палача Преображенского тайного приказа, влезши на колесо, перевернул Цыклера со спины на грудь. От боли в перебитых конечностях Цыклер потерял сознание, а когда очнулся, увидел под собой, на помосте, изуродованных пытками окольного Алексея Соковника и татейных дел подъячего Сильвестра Полтину, и как им рубили

головы. Кровь, стекая по желобам, уходила в дырки.

Потом, по знаку Петра, Цыклера стащили с колеса и, удобно расположив его на деревянных чурбаках, отрубили ему вначале правую руку и левую ногу, а затем, спустя недолгое время, левую руку и правую ногу. Потом отрубили голову.

Крови было много, она ручейками текла по желобам и падала в гроб, установленный под эшафотом. Иссохшие останки Ивана Милославского плавали в гробу, как в корыте.

Покончив с одним делом, Петр, не мешкая, взялся за другое: 2 марта 1667 года, через два дня после казни Цыклера, тысяча саней Великого посольства двинулась из Москвы к северо-западу, к границе. С посольством ехали переводчики и повара, солдаты охраны и лекари, советчики, соглядатаи, священники, хлебники, шут-кнутмейстер Вытащи и четыре карлы, отдохнувшие и полные энергии. Во главе посольства поставлен был Франсуа Лефорт; царь Петр, не желавший представлять и быть все время на виду, полускрылся под именем Петра Михайлова, десятника отряда, ехавшего обучаться морскому делу. Кому следовало об этом знать — тот знал достоверно, кому не следовало — тот догадывался.

Проследовав через Ригу, Митаву и Кенигсберг, посольство взяло курс на Амстердам. Главной целью Петра была Голландия — с ее верфями, мануфактурами, с ее могущественной Ост-Индской компанией. Дивясь основательности и налаженности западной жизни, Петр собирался учиться всему, и как можно больше — тому способствовала его деятельная, любознательная натура, да и в своих подданных он не очень-то верил, считая их людьми кос-

ными, ленивыми и вороватыми. Ненавидя Софью с ее стрельцами, Петр возненавидел всю российскую старь — и ринулся, как артиллерийская бомба, к Европе, к ее новизне. Он задумал свой „эксперимент“ обновления и, разумеется, решил возглавить этот опыт. А для того следовало войти во все тонкости дела самому, все попробовать на зуб и на язык, все ощупать своими руками, не веря до конца ни своим, ни чужим: начав и пустившись, не у кого будет спрашивать, да и времени не будет...

В Амстердаме он почувствовал себя почти так же уютно, как в Немецкой слободе. Он изучал и исследовал все, что наметил изучить и исследовать еще в России, и, сверх того, почти все, что было для него внове и казалось ему полезным: варение пива, изготовление презервативов из рыбьих пузырей, изготовление крючков для ужения рыбы и стеклодувное производство. Но прежде всего прочего он ставил верфь, сооружение кораблей — от киля до клотика, от бугшприта до кормы. Самым счастливым днем его в Амстердаме стал день морских маневров, специально для него устроенных. В маневрах принял участие фрегат „Петр и Павел“, построенный на его глазах и при его участии; сам он тоже маневрировал около „Петра и Павла“, командуя яхтой.

Этот осенний день начался для царя весьма благоприятно: с утра солнце грело и сверкало сквозь прорывы высоких туч, море было почти спокойно, пришла из Москвы почта с письмом от Анны Монс (Петру, читая, вдруг захотелось ее схватить, сжать, повалить) и посланием от преданного монстра Родановского. Все было в порядке и там, дома... Прочитав письма, Петр наскоро позавтракал густо перченым жареным мясом и, вызвав жжение в наджелудочной пищевой трубе, попробовал новое

лекарство против жжения. Новое лекарство помогало, но не очень. Выпив чарку анисовой водки, царь почувствовал приятное облегчение и, подумав, решил от приглашения аптекаря в Россию воздержаться: лекарство ему не понравилось, надо будет поискать что-нибудь покрепче в Лондоне.

После завтрака явился Никола́ Витсен — высокий, прямой, в белоснежном парике. Сев в низкое деревянное кресло, Витсен широко развел колени и, поместив между ног трость черного дерева, оперся широким, хоть ведро на него вешай, подбородком о серебряный набалдашник. Амстердамский бургомистр и один из директоров Ост-индской компании Никола Витсен симпатизировал странно-му русскому царю и, быть может, вполне бескорыстно. Петр, впрочем, подвергал бургомистрово бескорыстие некоторому сомнению: слаб человек и вороват, и это обстоятельство никогда не следует упускать из виду.

— Предельно счастлив видеть ваше величество в добром здравии, — качнув бруклями парика, галантно произнес Витсен.

„А изжога!“ — подумал Петр и сказал со вздохом:

— Да-да, господин бургомистр... Я вижу, вы с добрыми вестями: что с мастерами для наших железоделательных заводов? Нашли? Есть?

— И есть, и нет, — уклончиво ответил Витсен, и Петр поморщился. — Они ведь не знают ни слова по-русски, и это большое препятствие, если не единственное... Но я, действительно, с доброй вестью.

Петр прошелся по комнате, вспоминая, о чем еще, кроме найма мастеров, просил он Николая Витсена: об инструменте для военных лекарей, о

шутихах новейшей системы для устройства фейерверков.

— Евреи города Амстердама, — чуть погодя, продолжал Витсен, — спрашивают, ваше величество, дозволения приезжать в Россию, в ней селиться, завести там купеческие конторы и отправлять торговлю.

— Это и есть, что ли, твоя добрая весть? — краем рта усмехнулся царь.

— Евреи много способствуют процветанию города Амстердама, — пояснил Витсен. — И на первый случай они подносят вашему величеству сто тысяч гульденов.

Петр озадаченно молчал, переступая с пятки на носки. Сто тысяч гульденов — деньги немалые, а жидов, впустив, можно потом и обратно отправить.

— Евреи в государстве — это как бы запасная казна, — привел аргумент Витсен. — Вреда от них никакого нет, а в случае нужды всегда можно у них одолжить денег, и под невысокий процент.

Арапский карла по имени Кабысдох выкатился из-под стола, где он проживал в деревянном ящике. Завывая и подскакивая, он выбрался из своих красных шелковых штанов и, зажав членик в черный кулачок, заметался по комнате. Как бы вовсе забыв о предложении Витсена, Петр с ухмылкой наблюдал за проделками карлы.

— Жиды идут! — вопил Кабысдох. — Помилуйте! Режут! А у меня вон какой маленький! — он разомкнул кулачок. — И тебя окоротят, государь! А-а! Спасайте.

„Сколько они ему заплатили за ходатайство? — скользнув взглядом по вежливо улыбавшемуся Витсену, с внезапной злобой подумал Петр. — Чтоб к жидам в кабалу лезть — ну уж нет, лучше монас-

тыри вытрясу, да и свои купчишки раскошелят-ся...”

— Хотя и почитаются жида искусными обманывать весь свет, — отпихнув карлу ногой, сказал царь, — но у моих русаков немного они выторгуют... Да и Кабысдох вон боится.

Прячась за Петром, за его ногами, карла показывал Витсену непристойные жесты.

— Господин Шафиров считает... — задумчиво глядя на карлу, заметил было Витсен.

— Считает, считает! — резко взмахнув руками, перебил Петр. — Он, разумеется, считает, что их надо впустить. Молодец Шафиров: поддерживает своих! Грош медный ему была бы цена, если б не поддерживал.

Посидев еще немного, Витсен откланялся. Он несколько раз бывал в России, знал русский и, как ему иногда казалось, знал русских — и все же не мог понять царя Петра. Постукивая тростью по чистым черным камням мостовой, он раздумывал над тем, почему царь отказал евреям. Ведь каждый разумный правитель — а Витсен считал Петра человеком разумным, хотя и несколько необузданным — только приветствовал бы приток капиталов в свою страну, будь то капиталы еврейские или хоть китайские. Да и сто тысяч гульденов не валяются на улице, а ведь это только аванс... И вот одним махом, по подсказке какого-то отвратительного карлика, русский государь отказывается и от наличных денег, и от гарантированных грядущих доходов. Прискорбно, прискорбно! Это уже не говоря о том, что его, Витсеновские, коммиссионные прямо-таки выпорхнули из кармана. Ну, хорошо, все это можно было бы понять, если б царь был жидомор — но ведь у него есть Шафиров, да и братья Веселовские продвигаются по дипломати-

ческому ведомству и, весьма вероятно, займут со временем высокие посты в посольском приказе. Непостижимо!

По дороге к морю думал о предложении Витсена и Петр. Он не испытывал к евреям ни ненависти, ни презрения — ничего особенного. Горазды воровать? Так ведь кто ж не горазд! Вон Алексашка Меншиков, русак из русаков, тянет что ни попадя. В этом деле никакого различия нет между людьми, крещены они или обрезаны... И все ж евреи — чужие, даже чужей, чем татары или вот голландцы и немцы. Евреи живут как бы в скорлупе и не прилепляются душой ни к чему русскому. Правду сказать, не к чему особо и прилепляться — не много найдешь хорошего на Руси, — но поди сравни российского Шафирова с женевским Лефортом! Для Франца, любезного друга, наше распахабнейшее дерьмо уже своим стало, а Шафиров, жидовская морда, посмеивается втихомолку над русаками стоеросовыми. Смеялся бы открыто — а то втихомолку, среди своих. А что остер на язык и самого чёрта перехитрит и без рогов оставит — за то и держим.

Увидев за земляной дамбой покачивающиеся мачты „Петра и Павла”, царь забыл и о Витсене, и о Шафирове. Он не знал, не мог объяснить самому себе, почему морские военные забавы ему несравнимо милей забав полевых и лесных, почему сам вид моря умиротворяет его душу и настраивает на лад почти пиитический. Он этого не знал — хотя честно пытался разобраться и в этом. В наши дни его, наверно, просто назвали бы „человеком воды” — и сочли бы, что этим все объяснено.

Шафиров наблюдал за ходом маневров с берега: он подвержен был приступам морской болезни, качки не выносил и вид даже спокойного моря

вызывал у него тошноту и головокружение и был неприятен. Однако, отдавая должное любви государя к военно-морской потехе, он считал для себя необходимым прибыть на берег и глядеть на волны и корабли. Не он один так счел, и не он один прибыл: почти весь состав посольства расположился вдоль берега, на дамбе, и кто с интересом, а кто со скукой глазел на морскую воду, на „Петра и Павла“, на яхту и другие корабли и лодки: царь любил зрителей, и неявка к месту потехи могла возыметь дурные последствия.

Сидя на дамбе, на складном стуле, и с вежливой улыбкой следя движение царской яхты и кораблей, Шафиров размышлял об утреннем визите Витсена к Петру. Царский отказ успокоил Шафирова: в глубине души он и не желал иного ответа. Допусти Петр голландских евреев в Россию, — он, Шафиров, волей-неволей стал бы ответственным за их слова и дела и первым держал бы ответ перед царем: как эксперт и единоверец, хотя и бывший. А в том, что ответ держать пришлось бы, и в скором времени — в этом Шафиров не сомневался ничуть: он знал своих евреев, знал их жесткость в делах, их закрытость и замкнутость, и что русские посмотрели бы на все это косо... Кроме того, Шафиров досадовал на то, что амстердамские евреи выбрали своим ходатаем гою Витсена, а не его, бывшего еврея Шафирова, и тем самым лишили его возможности заработать хороший куш... Так что пускай лучше они сидят себе в своем Амстердаме, — не без легкой обиды думал Шафиров, глядя на море.

А на море крутился, как лось среди собак, фрегат „Петр и Павел“ среди лодок и яхт. Видно было, как матросы карабкались по вантам фрегата, ставили и убирали паруса. Потом царская яхта подошла вплотную к „Петру и Павлу“, и Петр во главе

своих людей бросился на abordаж. Яхту сильно качало, Шафиров почувствовал приступ тошноты и незаметно отвернулся. За его спиной слонялся по дамбе шут Вытащи, громоздкий, как шкаф. Арапский карла Кабыздох, смешно повторяющий неуклюжие движения Вытащи, показал Шафирову острый кошачий язык.

Потешная баталия шла к концу, на клотике „Петра и Павла” взвился флаг Петра. Шафиров облегченно вздохнул и поднялся со своего стула. Можно было идти поздравлять царя.

Петр бушевал. Он сломал тяжелый резной стул свейской работы, вышвырнул в окно некстати вылезшего из-под стола, из походной коробки, карлу Кабыздоха, а Меншикову, кинувшемуся было утешать, кулаком разбил нос. Поздравления с викторией были отменены, явившиеся поздравители теснились, переговариваясь шепотом и знаками, в посольской гостиной, перед кабинетом царя.

Царский гнев был оправдан: шестеро русских волонтеров, дворянских недорослей, плохо показали себя на маневрах и особенно в abordажном приступе, а на укоры царя дерзко отвечали: мы, дескать, больше не желаем топорами махать на верфи да по веревкам лазать над морскою бездной, и тебе, царь, это негоже, — ты, все ж, не лапотник.

Услышав такие речи, Петр страшно задержал головой и велел критиканов тут же, на берегу, заковать в цепи:

— Заковать! Доставить к Лефорту!

Теперь закованные сидели в подвале посольского дворца, ушибленный карла валялся в углу двора, Алексашка прикладывал лед в тряпиче к носу, а Петр бешено мерял кабинет от стены к стене в ожи-

дании Вытащи. Шута-кнутмейстера искали по всему городу, и бегом: царь ждать не любил.

Обнаружили Вытащи в кабаке; он там добросовестно праздновал цареву победу. По дороге к посольскому дворцу, понукаемый и в спину, и в бока для ускорения хода, он радостно рассказывал сыщикам о скверной заграничной жизни и как ему хочется домой, в Москву: мясо здесь без жил — зубами даже не почувешь, что мясо, и вода какая-то пресная, и ржаного хлеба здесь не пекут... Вытащи редко кто слушал, разве что по крайней необходимости либо по принуждению — вот он и пользовался случаем.

Первым делом, увидя Петра, Вытащи испугался: царь был буен. Обломки свейского стула валялись на полу, и кнутмейстер с неприятным чувством прикинул, что тяжелой ножкой мореного дуба можно прошибить голову. Топчась в дверях, Вытащи опасался шагнуть в комнату, наперерез Петру.

— Возьми плотников, — коротко и со свистом дыша, сказал царь, — и к завтраму чтоб сбили эшафот тут, на дворе... Ты что это?

— Робею... — топчась, признался Вытащи.

— А-а... — вдруг светло, озорно улыбнулся царь. — Завтра перед обедом выведешь из погреба недоумков, отрубишь головы, чтоб другим неповадно было. Иди, занимайся! И скажи, чтоб вошли, кто там ждет: можно.

Поздравители втекли шумно, затопили кабинет. Заговорили все сразу, не желая уступить первенство другому. Петр улыбался, сиял.

У дальней стены, за спинами поздравителей, стоял ловко сбитый, мускулистый молодой человек в матросской одежде. В его то ли сильно загорелое, то ли от природы смуглое лицо вправлены были, как черные камешки, крупные выпуклые

глаза в мягких метелочках юношеских ресниц. Кисти рук его были маленькие, сильные и тоже смуглые, темные. Во всем его облике — во взгляде, в чутко настороженной позе, в золотом, с синим камнем браслете вокруг тонкого, почти хрупкого запястья — явственно проступало что-то экзотическое, неместное; держался он хотя и скромно, но без всякого смущения, да и скромность его казалась более нарочитой, чем естественной. Трудно было определить, кто он таков: перс или армянин.

Петр заметил его поверх голов, поманил. Молодой человек подошел гибкой, звериной какой-то походкой и поклонился, не сгибая спины:

— Ты велел мне явиться, русский государь, — сказал он по-голландски.

— Ты матрос с „Петра и Павла“? — с интересом уставившись на подошедшего, спросил Петр. — Это ты спихнул в море моего помощника во время абордажного приступа?

В знак согласия молодой человек легко наклонил голову.

— На талер, — сказал Петр, выбирая в кошельке нужную монету. — Ты хороший моряк, хорошо дрался... Плаваешь давно?

— С голландцами — два года. Раньше плавал юнгой на португальском пиратском бриге, в Южных морях.

Поздравители, притихнув, кто с любопытством, кто с ужасом разглядывали молодого пирата. Петр задышал шумно, обрадованно.

— Ты, значит, португалец? — продолжал он расспрашивать. — Пойдешь ко мне на службу?

— Я сефард, — сказал молодой человек, и царь недоуменно поднял брови. — Португальский еврей Антуан Дивьер. Пойду к тебе на службу.

Удовлетворенно хмыкнув, Петр нашел глазами Шафирова, подозвал, спросил по-русски:

— Он жид? Ну-ка, поговори с ним по-вашему.

— Шма, Исразль... — сухо выговорил Шафиров: он все же не любил, когда ему публично напоминали о его еврейском происхождении.

— ...адонай элогейну мелех аолам, — заученно продолжил Дивьер.

Зрители вслушивались напряженно.

— Ну? — нетерпеливо спросил Петр. — Пират — жид? — он со вкусом выговорил слово „пират”.

— Да, несомненно, — утвердил Шафиров. И добавил не без торжественности: — Я его проверил.

— И долго ты пиратствовал? — снова перешел на голландский Петр.

— Шесть лет, государь, — сказал Дивьер, как об обычном. — Сызмальства. Это дело я знаю хорошо. — Трудно было уразуметь из его ответа, какое именно дело: морское или же пиратское.

Петр вдруг порывисто взял Дивьера обеими руками за плечи, почувствовал под пальцами, под матросской курткой, слоистое каменное мясо.

— Рука у тебя твердая? — спросил Петр, близко глядя в глаза Дивьеру.

— Твердая, государь.

— Я, может быть, дам тебе хорошую службу, Антон Дивьер, — сказал царь. — Очень хорошую службу.

Сквозь толпу посетителей к Петру протиснулся Меншиков. Нос его сильно распух, но уже не кровоточил. Царь взглянул на Алексашку ласково.

— Витсен просится, Николай, — доложил Меншиков, — и с ним два подбургомистра. Велишь пустить, мин херц? Они на дворе ждут.

— Пусти, — сказал Петр и подумал о тех ста тысячах гульденов: а не взять ли, все-таки?

Тяжело стуча черной тростью по белому полу гостиной, Витсен прошел в кабинет. Перед ним расступились. Подбургомистры в черных кафтанах стояли за его плечами, как крылья; это было торжественно.

— Ваше величество, — кашлянув в кулак, сказал Витсен, — приказали казнить завтра утром шестерых молодых людей. Всемиловитейше прошу: не делайте этого, ваше величество!

— Тебе что за дело? — покраснев, крикнул Петр. — Это мои люди!

— Не делайте этого в Амстердаме, — повторил Витсен. — Они, может, и заслуживают смерти, — но у нас тут не казнят без судебного разбирательства. Такая поспешная казнь может вызвать толки, неприятные для вас, ваше величество, и для всего русского посольства.

Легко шагая, в комнату вошел Лефорт. Встретившись взглядом с царем, он улыбнулся понимающе, душевно улыбнулся.

— Вот посол, — указывая на Лефорта, сказал Петр. — Ты с ним говорил, Витсен?

— Говорил он, — подойдя, доверительно сказал Лефорт. — Скандал получится, ваше величество. Они тут этого не понимают: распустился народ, власти не знает.

— Кнута они не знают... — проворчал Петр и оборотился к Витсену: — А ты так бы и говорил, что у вас тут свои порядки, а то завел: заслуживают, не заслуживают... Заслуживают, Николай, и казнить их следует для пользы дела огромного!

— Так отправьте их в Россию, ваше величество! — попросил Витсен. — Там и казните.

— Пусть здесь останутся пока, — решил Петр. — Жалко денег, на них изведенных. Антон! — он

поискал в толпе Дивьера. — Определи их завтра же к мастеру Полку, корабельщику, и следи за ними в оба. Следи!

И потом, позже, когда ушел Витсен с Лефортом и разошлись поздравители, Перт, задержав Дивьера, повторил:

— Твое дело пока — следить, Антон. Из этого тряпья, — царь с силой ударил ногой в пол — там, в подполе, сидели закованные критиканы, — пиратов не сделаешь. Но я хочу трудным ученьем из них дурь вышибить и вольнодумство: ученье это им же на пользу пойдет... А ты, — он с жестким любопытством, искоса взглянул на Дивьера, — казнил бы их?

— Казнил бы, — не задумываясь, ответил Дивьер. Он чувствовал, что именно такого ответа ждет от него русский царь, и не видел причины давать другой. Он не знал, за что эти русские сидят в подвале, да это его и не занимало ничуть. Что они ему — родственники, знакомые? Посадили — вот они и сидят. Можно их казнить, а еще лучше поставить на какую-нибудь черную работу — как на пиратском острове Св. Младенца, где пленники под крепкой стражей валили тропический лес, строили бастионы и дома.

— Солдат должен делать то, что велит офицер, — глядя в угол, вдаль, расстановочно сказал Петр. — Народ — то, что велит царь. Тогда будет прок и всеобщая польза для отечества... Но одна паршивая овца все стадо портит! — Петр снова яростно ударил ногой в пол. — Такую овцу надо публично на куски разорвать! Запомни это, Антон Дивьер!

— Запомню, государь, — наклонил точеную голову Антон Дивьер.

Еда была невкусная: острая, кровавая, с кусочками слегка обжаренного огненного перца. Осторожно жуя, Шафиров вспомнил нежнейшие домашние супчики и тефтельки и грустно улыбнулся. Радость победы над Мехметом, распиравшая его в ту прутскую ночь, давно истончала и пожухла. Теперь, три года спустя, его радовало другое: что кончился срок его заложенничества, что он едет домой — к жене и к дочкам, к книгам, к супчику. И, против желания возвращаясь памятью на берега Прута, он испытывал неловкость оттого, что послужил причиной гибели турецкого визиря. Турок был, в сущности, неплохой человек, и культурный. И тот факт, что, не сядь он на кол, неисчислимые бедствия обрушились бы на Россию, — этот факт сейчас ничуть не облегчал неловкости Шафирова перед самим собою.

Три года назад это все выглядело иначе. Тогда он сам, собственноручно готов был изрубить Великого визиря в кебаб — лишь бы вырваться из губительного мешка, спастись самому, спасти Петра, Екатерину, Россию. Теперь триумф, ожидающий его в Санкт-Петербурге, не заставит его задыхаться от волнения и восторга. Ну, может, построят по царскому эскизу аллегорическую арку. Что, интересно, на ней изобразят?

Мысль о том, что знает Петр о той ночи, была неприятна Шафирову, пугала его. Он, конечно, герой, он спас — но это ведь случилось не вчера и не третьего дня. А сегодня у царя другие заботы, и другим людям поручено их разрешать. Да и Шереметев с Головкиным не сболтнули ли лишнего? А если сболтнули — а сболтнули почти наверняка — и

пополз слушок, так и благодарность царская обернется бедой. Изовьется слушок змеей, подползет тишком — и ужалит. Вот и весь сказ.

Шафиров, однако, на дурных мыслях долго не задерживался. Приятней было отгородиться от них, заслониться ну вот хоть ладонью — и думать о доме, о семье. Он рассчитывал вернуться в Санкт-Петербург к весне, к Пасхе — единственному еврейскому празднику, который он отмечал все годы, даже в заложничестве. Повторяя скороговоркой молитвы и деловито мурлыча под нос пасхальные песни, он просил Бога вывести его из туретчины, как вывел Он когда-то евреев из земли египетской рукою крепкою... И вот наступил день — и Шафиров едет домой.

Затянувшееся это заложничество не прошло для Шафирова даром. По отношению к нему султанских людей, то приторно сладких, как халва, а по большей части враждебных и грозных, он чувствовал, знал: он ходит вокруг кола. Приди царю в голову весьма здравая идея — задержаться с его, шафировскими обязательствами перед султаном или вовсе отказаться от них, — и кол из леденящей душу угрозы превратится в реальную палку с заостренным концом, черным от кала и крови... Такие мысли и видения, при всем их чудовищном ужасе, постепенно примиряли Шафирова с ледяной вечностью, расположенной по ту сторону смерти. Бирюзовоголубые турецкие утра казались ему даром Божиим, и, разглядывая через окно крепко охраняемого дома безмятежный далекий горизонт, он с повлажневшими глазами размышлял о том, что успех и карьера — пустая суета, что погоня за наживой мельчит и чернит душу и что, пожалуй, только книги, золотые глыбы книг способны принести человеку облегчение и покой... Все эти рассуждения

пресеклись и были забыты, как только пришел день освобождения из заложничества. Остался страх за свою судьбу, страх перед царем. И осталась усталость, от которой, верно, не избавиться уже до конца дней.

Сразу, в один миг, Санкт-Петербург сделался близок, как будто оставалось до него полперегона. И вживе представились картины пренеприятнейшие: склоки и подсиживания в Сенате, зависть врагов и друзей, и неудачника-брата надо, наконец, пристроить к какой-нибудь службенке для виду и для содержания. Судьба младшего брата заботила Шафирова: нехорошо, негоже родственникам вице-канцлера прозябать в ничтожестве. Нехорошо и несправедливо. В почтовом ведомстве следует приискать ему что-нибудь приличное: доходное и почетное. И пора, пора серьезно подумать о подходящей партии для старшей дочки: молодой Волконский ходит в женихах, и Толстой. На приданое можно пустить доход с сёмужного промысла на Белом море, за такие деньги даже рюриковичи закроют глаза на происхождение шафировского папаши Пинхуса. На пасхальный седер они, понятно, не придут, да этого и не надо: достаточно и того, что он, Шафиров, придет целоваться с ними на русскую Пасху. А на седер придет Дивьер, придет Лакоста. Не будет миньяна — невелика беда: Санкт-Петербург — не Смоленск, здесь все евреи наперечет. А гоям и не стоит знать о пасхальном седере в доме русского вице-канцлера Шафирова. На седер надо будет приготовить фаршированную щуку, бульон с кнейделах... Вспомнив о кнейделах, Шафиров поковырял двузубой вилкой кусочки перченого мяса и брезгливо поморщился. Скоро, скоро домой! И снова жизнь помчится вскачь, как тряская безрессорная коляска, запряженная жеребцом с царской конюш-

ни. Так что ж, что безжалостно подбрасывает на ухабах и душу вытрясает! Зато — вперед, в дали, набитые алмазами, орденами и титлами, пропахшие вином и порохом, пропитанные клейкой кровью и слезами восторга и счастья! Вперед — к родному горизонту, наколотому на булавку шпилья Петропавловской крепости и столь отличного от этого окаянного азиатского окоема, похожего на шелковый пояс, накиннутый на земные бедра и лениво сползший на ее чресла. Долой отсюда — из этого обрыдлого края, настолько обрыдлого, что даже турецкий язык не захотелось учить и пришлось взяться за итальянский. Довольно! Сколько там еще осталось по Южной дороге до Санкт-Петербурга, любезные господа?

Борох Лейбов направлялся в Санкт-Петербург по другой, Западной дороге. Путь его был не близок и не далек — от родного его местечка Зверятичи, что около Смоленска. Борох был человеком средних лет и среднего роста, плечистым и кряжистым, с пронзительным и пасмурным взглядом темных глаз. Его крупное белое лицо с прямым и тонким по гребню носом заросло пышной широкой бородой, в черной гуще которой уже поблескивали кое-где серебряные нити. Сидя в бричке, Борох Лейбов кутался в овчинный тулуп, надетый поверх капоты, и с безразличием поглядывал на редкие деревеньки да на мокрый лес по сторонам проезжей дороги. Он не любил путешествий, в первую очередь потому, что ему было жаль времени, потраченного на перемещение из одного места в другое, ему по каким-либо причинам потребное. Это пустое время, украденное у разумной жизни, требующей целенаправленной деятельности, это время, проведенное в бричке, телеге или коляске, было никак

не восстановимо. А ведь можно было бы потратить его с несомненной пользой для души или для коммерции: изучая Талмуд и комментарии к нему или ругаясь с корчмарями, за доходами которых Борох Лейбов, кабацкий откупщик, следил пристально.

В Санкт-Петербург Бороха Лейбова вели дела не коммерческие. Решив основать в местечке Зверятичи еврейскую начальную школу, он отправился в Петербург и Москву за помощью и поддержкой единоверцев, явных и тайных. К последним он безоговорочно относил и могущественного Шафирова, возвращающегося, по слухам, к Пасхе из турецкого сидения. Еврей-выкрест был омерзителен Бороху Лейбову, как змея или крыса, но перспектива открыть хедер в Зверятичах превозмогала его омерзение: Шафиров был, пожалуй, единственным, чья помощь решила бы дело беспрепятственно и быстро. Стоило помучиться, общаясь с этим грязным мешумедом — лишь бы зверятические дети получили свою школу и учили бы там с ребе святую премудрость Священных книг. Борох Лейбов уже и место приискал для школы — прямо против церкви Николая-Чудотворца, только площадь пересечь. Именно там следовало начать безбоязненную борьбу с попом Амвросием — ловцом слабых душ и прельстителем. В таком деле не следовало прибегать к полумерам, потому что Бог, вне всякого сомнения, был на стороне Бороха Лейбова.

Поп Амвросий, однако же, придерживался противоположной точки зрения: Бог, по его убеждению, всецело был на его, амвросиевой стороне. Кроме того, на стороне попа был смоленский архиерей Филофей, и это тоже было немаловажно. Старая вражда связывала Бороха Лейбова с попом Амвро-

сием, и вражда эта была крепче, чем иная дружба; взаимная ненависть и презрение иссякли бы только с уходом одного из врагов в могилу. И каждый из двух твердо рассчитывал, с Божьей помощью, пережить другого.

Сомнения были неведомы их закаленным душам. Уверенные в своей святой правоте и Божьем попечительстве, они видели друг в друге воплощенное дьявольское зло и готовы были к пролитию крови. Они пускали в ход издевки и оскорбления и, столкнувшись случайно, а то и умышленно на улице, вспыхивали, как вязанки сухого хвороста; Борох Лейбов в таком случае растопыривал руки над головой наподобие рогов и, подпрыгивая, блял по-козлиному, а Амвросий скакал на месте и кукарекал петухом. Человеческий язык был бы их общим языком, а они не желали иметь ничего общего, и вот, ради подчеркивания непреодолимой розни, один кудахтал и кукарекал, а другой блял. И каждый, пылая и горя, чувствовал себя Божьим заступником и героем.

В этом священном противоборстве хорош был и оговор, и донос. „Борох-Лейба и жена его, — доносил Амвросий, — служившую у них крестьянскую девку Матрену Емельянову в субботу против Богоявления Господня, связавши ей руки и ноги и повеся за переводный брус, держали в таком положении с вечера до утреннего звона и, завесивши ей голову, булавками и иглами испускали из нее руду”. Вызванная для дачи следственных показаний, девка Матрена начисто отвела навет, возводимый на ее хозяина, и доносу не был дан дальнейший ход. Однако известность и авторитет Бороха Лейбова и попа Амвросия значительно возросли после этого случая в среде их единомышленников. И тот, и другой сделались в Зверятичах истинными

праведниками и героями, и их приверженцы терпеливо ждали исхода затянувшегося поединка.

Открытие хедера против церкви Николая-Чудотворца было задумано как смелый контратакующий шаг. Бог знает, на чьей стороне тут была правда и здравый смысл, но сила была на стороне попа Амвросия. А сила и правду ломит.

С яростным омерзением вспоминая петушьи крики проклятого попа, Борох хмуро поглядывал из брички на дорогу. Зверятическая школа со временем уподобится Явне, она станет оплотом против нечестивых гоев, светочем для благочестивых и грозой для слабодушных, нарушающих заветы и предписания. Ибо еврей, нарушающий предписания, еще хуже гоя... Увидев за поворотом, за черными елками заезжий двор, последний перед Санкт-Петербургом, Борох Лейбов вытащил из-под лавки холщевый мешок с кошерной дорожной пищей: мацой, луком и жареным на постном масле мясом.

Анна Меншикова была совершенно счастлива: Дивьер оказался прекрасным семьянином, любящим мужем и отцом. К их большому каменному дому на Мытной набережной, что ни вечер, подкатывали экипажи и коляски с именитыми гостями: люди искали если и не дружбы, то хотя бы расположения сильного и страшного Антона Мануйловича Дивьера. А трехжильный Антон был неутомим и в работе, и в веселье, да и к супружескому ночному труду остался он охоч, как годы назад: Анна ходила если не тяжелая, то сонная и загадочно-улыбчивая.

Александр Данилович Меншиков не показывался на Мытной. По Аньке он не скучал, а если и скучал, то виду не подавал. Встречаясь по царской службе с Дивьером, он держался надменно и холодно, как с

чужим; но востроглазый Антон то и дело ловил на себе косые, мстительные взгляды шурина. Эти взгляды, однако, ничуть не пугали и не огорчали бывшего пирата: осторожный и дерзкий, как лесной зверь, он уже достиг всего, что хотел. Положение его при царе было на редкость прочно, потому что он был не только исполнителен, но и честен: имея к тому возможности, не крал или почти не крал, и царь, его же заботами, был об этом осведомлен. Кроме того, по долгу службы и по любопытству характера Антон знал множество интереснейших подробностей о жизни высших царедворцев, в частности, и об Алексашке. И изрядную часть этих подробностей он расчетливо держал про запас, про черный день. Поспевая всюду жданно и нежданно, постреливая из-под неподвижных тонких бровей черноогненными глазами и привычно беря на заметку вещи на первый взгляд незначительные, Дивьер никого к себе не приближал дружески. Дружба с кем бы то ни было мешала бы, сковывала. В том положении, в каком очутился Дивьер, сегодняшний друг завтра мог нечаянно повредить, а то и предать по собственному умыслу либо под пыткой. Беззаботная дружба времен острова Святого Младенца отошла навеки, и Антон Мануйлович о том не жалел, как никогда не жалел ни о чем, им содеянном и оставшемся позади. Отсутствие близких друзей было лучшей защитой от заугольных неприятностей, лучшей гарантией личной безопасности — поэтому гросс-комендант строящегося Санкт-Петербурга, советник царя по делам тайного сыска Дивьер друзей не имел. Исключение, подчеркивавшее раз и навсегда принятое правило, составлял Лакоста, шут.

Вечером накануне возвращения Шафирова из туретчины Лакоста отправился на Мытную, к

Дивьеру. Было уже почти тепло, грязь к концу дня подсыхала под лучами желтенького весеннего солнца, а к утру ее снова прихватывало легким ночным морозцем. Обходя лужи, Лакоста не спеша брел по набережной. Иные встречные узнавали царского шута, кланялись всерьез, без насмешки: жид Лакоста был в чести у Петра. Иные праздно глазели на его строгое немецкое платье, черное; со стороны шут смахивал на аптекаря.

Дивьер не вернулся еще со службы, и Лакоста с Анной сели пить кофе в малой гостиной. Со стен глядели на них картины в сияющих позолотой резных рамах: поясной портрет Петра, жалованный царем, и красочные сцены морских баталий. Над макагониевым французским буфетом висела гравюра резца придворного гравера Зубова: на небольшом листе изображена была Анна Даниловна — с открытыми плечами, с высокой грудью, с загадочной и утомленной полуулыбкой на крупных губах. В углу, в плетеной из серебряной проволоки клетке, сидел на жердочке большой попугай с лазоревой грудкой и розовым хохолком.

— Антоша научил его свистеть по-пиратски, — сказала Анна Даниловна, придвигая к Лакосте вазочку с сахарными коржиками. — Так страшно! Ну, свистни, ну, Федя, милый!

Попугай Федя широко раззявил кривой клюв, пошевелил квадратным языком и, выпучив глаза, оглушительно, с переливами засвистал.

— Красиво, правда? — сказала Анна Даниловна восторженным шепотом. — Какой молодец Антоша!

Наклонив голову к плечу, Лакоста согласился: попугай, действительно, свистел очень громко.

— Хорошая птица, — сказал Лакоста. — Она несет яйца?

— Не знаю даже... — замешкалась с ответом Анна Даниловна. — Она, наверно, старая... А что?

— Я бы хотел для Маши достать такую птичку, — дружелюбно поглядывая на попугая, сказал Лакоста. — Было бы девочке развлечение. А то, я вижу, она иногда скучает у меня.

— Так она ведь уже невеста! — сильным голосом воскликнула Анна Даниловна. — Ей не о птичках надо думать!.. Сколько ей?

— Семнадцать исполнится летом, — сказал Лакоста. — Но она еще такой ребенок, такое дитя! Поверьте, ей больше четырнадцати, ну, пятнадцати никто и не дает.

— Вывозить ее надо, Ян Семеныч, — хмуря брови на высоком лбу, сказала Анна Даниловна. — В свет. Вот и не будет скучать.

— Зато я буду скучать, — тихонько постукивая пальцем по столу, сказал Лакоста. — Дочь шута на светском балу...

— Да какой вы там шут, Ян Семеныч! — отмахнулась Анна Даниловна. — Название одно! Да вас никто за шута и не считает при дворе.

— За кого ж меня считают? — с любопытством спросил Лакоста и постукивать перестал.

— Ну, как... — ненадолго задумалась Анна Даниловна. — Ну, просто за приятного человека.

— Приятный человек при дворе — это опасная должность, — усмехнулся Лакоста. — Куда более опасная, чем царский шут.

— Наливочки выпьете? — спросила Анна Даниловна. — Вишневой?

— Пожалуй, — пожевав губами, согласился Лакоста.

— А дочку отпускайте, отпускайте! — наливая,

приговаривала Анна Даниловна. — Ну вот хоть к нам: у нас молодые кавалеры бывают, и военные и статские. Невесту под замком держать — это же хуже не придумаешь! Она замок отомкнет, убежит невеста куда... — Глядя на играющий вишневыми бликами хрустальный лафитник, Анна Даниловна улыбалась счастливо, безмятежно.

— Упаси, Господи... — пробормотал Лакоста и поежился.

Дивьер вошел неслышно, стремительно. Узнав спину Лакосты, почти подбежал к столу.

— Ян! Вот хорошо, что пришел... Аня, мы одни сегодня? Значит, поужинаем по-домашнему. Вели подавать, голубка моя: я голоден, как чёрт. — И повторил, поглаживая Лакостово плечо и близко глядя ему в лицо: — Как тысяча чертей!

— Нарышкины будут ко второму ужину, — сказала Анна Даниловна, поднимаясь из-за стола. — И Гагарин обещался, Глеб.

— Я так поздно не останусь, — покачал головой Лакоста. — Посидим полчасика, Антуан, поболтаем.

— Как ты хочешь, — сказал Дивьер. — Но перхватим что-нибудь на скорую руку! — Он взглянул на жену.

— Сидите, сидите! — сказала Анна Даниловна, выходя из комнаты. — Сейчас подадут.

— Отличная у тебя наливка! — сказал Лакоста. — И цвет какой... — Он подлил себе, налил хозяину. — Ты уже видел Шафирова?

— Ну, конечно, — сказал Дивьер. — Он просил тебе кланяться. Немного похудел, но — совсем немного.

— Будут какие-нибудь официальные торжества? — спросил Лакоста, возя стакан меж ладонями.

— Нет, — сказал Дивьер. — Ничего. Но царь, наверно, его наградит: деревни, орден.

— Совсем ничего?! — удивился Лакоста. — Но...

— Прут — не Полтава, — пожал плечами Дивьер.

— Прут забыть надо, землей засыпать, чтоб не смердел в памяти. Три года назад, может, что-нибудь и устроили бы, а теперь... Как здесь говорят — дорого яичко да ко Христову дню.

— Трудно забыть, — помолчав, сказал Лакоста.

— Моя Маша была бы сейчас сиротой, если б не Шафиров: это он вытащил всех нас из могилы, говорю тебе, Антуан.

— Но ведь и ты, Ян, уговаривал Его Величество!

— наклонившись к Лакосте, шепотом сказал Дивьер.

— Шафиров меня послал! — шепотом же полуопроверг Лакоста. — И вот теперь Бог вывел его оттуда... Я хочу устроить пасхальный седер и пригласить Шафирова. Ну и, конечно, тебя!

— Где? — выпрямившись в кресле, коротко спросил Дивьер.

— У себя, — сказал Лакоста. — И, если ты имеешь в виду...

— Кого еще ты хочешь пригласить? — продолжал спрашивать Дивьер. — Понимаешь ли, Ян, было бы крайне нежелательно, если слухи об этом нашем седере пошли бы по городу. Более, чем нежелательно.

— Это понятно, — нешироко развел руками Лакоста. — Миньяна мы не наберем: ты, я, Шафиров и еще один еврей.

— Кто? — поднял глаза внимательно слушавший Дивьер.

— Его зовут Борох Лейбов, — объяснил Лакоста. — Он приходил ко мне просить денег на открытие еврейской школы где-то под Смоленском. Немного странный человек, знаешь ли, несколько нетерпимый... Но он здесь совсем один, а позвать

одинокого еврея на пасхальный седер — святое дело, Антуан.

— Да, тут ничего не поделаешь, — Дивьер наклонил красивую, без единого седого волоса голову. — Надо его звать... Но я все же проверю, что это за Борох Лейбов. Ты говоришь, он странный?

— Немного, — уточнил Лакоста. — Он смотрел на меня так, как будто я его должник и еще ограбил его впридачу. Ты же знаешь, есть такие евреи...

— Да-а... — неопределенно протянул Дивьер. — Он, наверно, знает, как надо вести седер? Я-то, говоря между нами, иногда путаю, когда нужно петь, а когда пить. Да и ты, Ян...

— Он знает, знает! — перебил Лакоста. — Тут-то уж не о чем беспокоиться. Да и Шафиров знает.

— Да, правда, — согласился Дивьер. — Это мы с тобой, Ян, призабыли.

— Ну, не совсем! — с жаром возразил Лакоста. — Да это и не главное: когда пить, когда петь.

— А что ж — главное? — Дивьер смотрел на Лакосту пристально, требовательно.

— А то, Антуан, — сказал Лакоста, — что мы себя чувствуем обыкновенными людьми только среди своих, будь то Шафиров или даже этот Борох Лейбов. Тут мы, евреи — а там они, гои.

— Пожалуй, раз в год мы себе можем позволить такую роскошь... — пробормотал Дивьер.

Вошла Анна Даниловна; мужчины замолчали, а потом заговорили о другом.

Шафиров решил праздновать Песах у себя.

Это решение явилось к нему в тот час, когда он узнал: не будет ни фейерверка, ни аллегорической арки. Ну, что ж, великолепно! Вот она, награда за верную службу — за жидовскую башку, за жидовский язык, за три года сиденья около кола, почти

что на колу! Помазанника Божия Петра Алексеевича благодарить не за что, возблагодарим же Бога за милость Его, на седере Его...

Мысли об устройстве тайного седера у Лакосты, за запертыми ставнями, отпали сами собой. Нет-нет, Песах следует встречать безбоязненно и открыто, в шафировском дворце, в парадной зале. И пусть весь Петербург говорит о том, как российский вице-канцлер Петр Шафиров славит своего еврейского Бога за то, что Тот вывел его из туретчины рукою крепкою... По некотором размышлении Шафиров решил все же спуститься из парадной залы в глухой подвал, тоже удобный и почти роскошный, и все устроить там: чудом избежав одной смертельной опасности, не следует подводить себя под другую: в открытую дразнить Святейший Синод, и так-то поглядывающий на Шафирова весьма недоверчиво и косо. Да и Лакоста, пожалуй, не отважится грызть мацу и распевать еврейские молитвы на виду у всего света, а Дивьер — тот наверняка не станет рисковать. Несущественно, в конце концов, в каком этаже встречать Песах — в первом или в подвальном. И, кстати сказать, шафировский подвал куда надежней лакостовской избушки, куда всякий любопытствующий человек может войти без приглашения. В подвал надо будет спустить парадный стол, стены завесить коврами. И не забыть поставить там бархатное кресло для Ильи-пророка. Это всегда так бывает трогательно: до конца вечера ждать, что вот-вот откроется дверь, войдет Илья-пророк и сядет в кресло. Знать, что не придет никакой Илья-пророк, — и все же ждать. В этом есть что-то детское, непорочное. Голубое бархатное кресло для Ильи-пророка.

Поскольку звать Анну Даниловну Меншикову на подпольный седер было бы делом бессмысленным,

то и Шафиров решил обойтись на своем празднике без домочадцев: ни к чему это, да они и не поймут. Общество, таким образом, составлялось мужское: сам хозяин, Дивьер, Лакоста и этот Борох Лейбов из Зверятичей. Ну, что ж, Борох так Борох! Когда ж еще и делать мицве*, если не в пасхальный вечер. Тем более, по словам Дивьера, Борох Лейбов человек сообразительный и не станет зря языком болтать о том, в чьем подвале провел он этот седер.

Стол был снесен, ковры развешены, бархатное кресло установлено. Расхаживая по просторному подвалу, Шафиров празднично размышлял над тем, куда привел его путь, начавшийся в Египте в незапамятные времена. А вот куда: В Панские ряды московского Китай-города; оттуда все и началось, с той потасовки с Алексашкой. И как Иосиф Прекрасный при фараоне, так и он, Шафиров, стал при Петре... Глухой подвал, убранный восточными коврами, напоминал таинственную пещеру, и Шафирову сладко и радостно было чувствовать себя Иосифом — чужеродным еврейским человеком, благодаря уму своему и смекалке поднявшимся высоко и спасшим царя и Россию. А что до фейерверка и арки — ну, что ж: ведь и Иосиф, пожалуй, для завистников-египтян оставался жидовской мордой и Богу своему молился тайком, в таком же, может быть, подвале своего дворца. А водил куда он или не водил фараонову жену — это еще вопрос; надо было, так и повел бы. А что об этом в Библии нет ни полслова — так это понятно: о той прутской ночи тоже едва ли будут в книжках писать. „Государыня пожертвовала ради России своими драгоценностями” — это куда благородней звучит и книжней. Он, Шафиров, знает, чем она пожертвовала; хорошо б,

* Мицве (евр.) — богоугодное дело.

он один. Как тогда сказал покойный Мехмет: „Секреты хранятся в железном сундуке, но и железо против времени не выстоит”... А фараонова жена тоже, надо полагать, была красавица, не хуже Екатерины, только на особый вкус.

Поймав себя на этой шаловливой мысли, Шафиров тряхнул головой в громоздком завитом парике. Придет же в голову, ей-Богу, да еще в такой вечер!.. А и Иосифу Прекрасному, наверно, хорошо и приятно было собираться хоть раз в год со своими, без всяких там египтян. Ну, два раза в год — но не чаще. Сладка конфетка, когда дают редко.

Первым явился Дивьер, осмотрелся внимательно, хмыкнул удовлетворенно. Сказал вместо приветствия:

— Отлично вы все тут устроили, Петр Павлович. И, главное, никто не догадается...

— Кроме Ильи-пророка! — обрадованно подхватил Шафиров. — Вот и кресло для него.

— Это милости просим! — усмехнулся Дивьер. — А вот если родственничек мой Александр Данилыч пронюхает, неприятностей потом не оберешься.

— Вор, завистник! — удрученно покачал головой Шафиров. — Если б зависть его обратилась в жар, все приближенные к Государю давно бы уже от этого жара сгорели в пепел. Он, Меншиков, как жук, точащий дерево, в котором живет. Я ему это и в лицо сказал.

— Напрасно! — лаконично откликнулся Дивьер.

— Ничего не напрасно! — нахмурился, выпятил губы Шафиров. — Мне известно доподлинно, что во многих сражениях он смотрел издали в зрительную трубку, как Нептун с фракийских гор на битву троян с греками.

— Это вы ему тоже сказали? — спросил Дивьер.

— Да! — повысил голос Шафиров. — И это! В лицо!

— Напрасно вдвойне, — сощурился Дивьер.

— Сам знаю, что напрасно, — вздохнув, сознался Шафиров. — Да теперь уж дела не воротишь: сказано, слышано... Зато какое удовольствие я получил, когда глядел в его наглуую рожу! Он покраснел, как вареный рак.

— Ну, если так... — чуть наклонил голову Дивьер. — Это, правда, должно быть, приятно.

— Вот увидите, он себя погубит! — потирая руки, продолжал Шафиров. — Завистник! Мерзавец!

— От таких людей следует избавляться разом, — ровным голосом сказал Дивьер, — либо вовсе их не трогать, даже себе в убыток. Князь Меншиков — весьма злопамятный человек, Петр Павлович.

— Знаю, знаю! — махнул рукой Шафиров. — Но мы еще поборемся! Правда себе дорогу пробьет!

— Правда? — удивился Дивьер и тонкие его неподвижные брови поползли вверх по лбу. — Это вы всерьез?

— А что ж... — опустил плечи Шафиров. — Если повезет...

— Ну да, — сказал Дивьер и, как бы возвращая на место непозволительно подпрыгнувшие брови, с силой провел по лицу, от лба к подбородку, маленькими смуглыми ладонями. — Повезет-то повезет, да куда вывезет... Я предпочитаю в это везенье не верить и покамест ни разу не ошибался.

— Но в отдельных, счастливых случаях... — вяло оборонился Шафиров.

— Я уж не говорю о моем ведомстве, — желая закончить этот бессмысленный разговор, веско сказал Дивьер, — но возьмем ваше — дипломатическое. Что есть дипломатия? — И выговорил, словно отрубил палашом: — Искусство лжи!

— Да, да, — рассеянно согласился Шафиров. — Великое искусство... — замолчал, к удовлетворению Дивьера.

— И вы, Петр Павлович, великий жрец этого великого искусства, — уже мягче продолжал Дивьер. — Ваше положение не позволяет вам держаться в тени, да вы этого и не хотите... А правда — что ж правда? Здесь начало и конец правды — царь Петр Алексеевич, и это правильно: не будь этой царской правды, все бы поползло, поехало, как по жидкой глине: состояния, идеи, бревна. И нас, — повысил голос Дивьер на возражающий жест хозяина, — нас с вами эти бревна первыми и раздавили бы.

— Вам, должно быть, видней, — глядя скучно, сказал Шафиров.

— Возможно! — охотно допустил Дивьер. — Давайте хоть раз в год, хоть в этот вот день не будем лгать... Правда! Правда — дело Божественное, а из нас каждый собственную правду сочиняет либо по расчету, либо по недомыслию.

— А — царь? — округлил брови Шафиров.

— Царь, к счастью, об этом и не думает, — сказал Дивьер. — То, что он делает, — это и есть для него единственная правда, небесная. А мы ее потом растаскиваем по кускам, по своим углам, как шакалы. Вы же меня не станете уговаривать, что то, что вы делаете, — это и есть ваша, шафировская, небесная правда.

— Предположим, — уклонился Шафиров. — Но вот вы же сами говорите, что царь...

— После Прута царь другим стал, — досадливо щелкнув пальцами, перебил Дивьер: — оглядчив, мнителен. Но, сказать откровенно, это мне по душе: в простоте душевной великих дел не сделаешь, да с такими помощниками, как у него. Тут глаз да глаз нужен, уж вы мне поверьте!

— Почему именно после Прута? — глухо спросил Шафиров и взглянул на Дивьера зорко.

— Возраст пришел, — усмехнувшись чуть заметно, сказал Дивьер. — Зрелость. Новая правда... Но нас с вами это не должно коснуться.

— Вы думаете? — опасливо разведаль Шафиров.

— Уверен, — с нажимом сказал Дивьер, — если только мы будем добросовестно служить за деньги, которые нам платит царь. Нам что скажут, то мы и должны делать. И поменьше болтать о нашем новом отечестве — все равно нам никто не верит. Мы для всех как были жида, чужаки — так и остались. Отечество, в конце концов, не ложка, его с собой по всему свету таскать не обязательно. Россия — это для русского человека отечество, Петр Павлович. А русский человек своемыслен, он, чем выше стоит, тем сильнее хочет по-своему повернуть, хоть на вершок — а по-своему. И так повернуть, чтоб обязательно и ему теплей было. Хоть бы только о деньгах шел разговор — а то ведь об устройстве государственном, о порядке!.. А мы — дело другое, мы — наемники, прохожие люди, чтоб не сказать проходимцы. Светлейший князь Александр Данилыч, шурин мой, проходимец куда почище нас с вами вместе взятых — но он с в о й: ему можно, нам нельзя. Нам царь доверяет, покуда мы своей волей в высокую политику не лезем. Наше дело, Петр Павлович — не высовываться!

В подвал, откинув ковровую портьеру, шагнул Лакоста. За ним, подобрав полы черной праздничной капоты и наклонив голову в островерхой черной шляпе, шел Борох Лейбов. В руке он держал небольшой холщевый мешок. Взыскательно оглядев убранство подвала и покачав головой скорей осудительно, чем восторженно, Борох направился к хозяину.

— Мир тебе и твоему дому, рэб Шапир! — громко сказал Борох.

Шафиров поморщился, как от внезапного удара зубной боли. „Рэб Шапир” — российскому Вице-канцлеру, Тайному Советнику, управляющему Посольским приказом, кавалеру орденов Польского Белого Орла и Прусского Великодушия барону Шафирову — это слишком даже для пасхального седера! Но Бороха Лейбова болезненная реакция хозяина не смутила ничуть, а, напротив, даже и позабавила: он прикрыл глаза и улыбнулся с видом довольным и внушительным.

— К столу, господа! — желая погасить неловкость, воскликнул Шафиров. — А то мы, пожалуй, прозеваем великий исход из Египта. — Вытянув из кармана золотые часы величиной с табакерку, он отщелкнул крышку, на которой бриллиантами и рубинами был выложен его баронский герб. — Девять без пяти... А это для Ильи-пророка! — указал Шафиров, чтобы Борох Лейбов не перепутал и не сел в бархатное кресло.

Гости расселись, один Борох остался стоять за своим стулом. Шафиров глядел на него с некоторой опаской.

— Ну, так... — сказал Борох, строго глядя. — Парички придется снять.

Лакоста с Дивьером послушно стянули парики, Шафиров же замешкался, как будто бы ему предложили снять штаны.

— Парики носят наши замужние еврейские женщины, — раздраженно, как непонятливому ребенку, объяснил хозяину Борох Лейбов. — Еврейские мужчины носят ермолки. — Он глубоко сунул руку в свой холщевый мешок и вытащил три черные шелковые ермолки.

Неприметно вздохнув, Шафиров стянул парик и

напялил ермолку на плешеватую круглую голову. Борох следил за ним внимательно. Под пронзительным, кипящим взглядом гостя в Шафирове почти ничего не осталось от вице-канцлера и кавалера орденов: он вдруг стал похож на пожилого, не совсем здорового еврея — торговца или корчмаря. Он не испытывал неприязни к Бороху Лейбову — а только замешательство пополам со страхом, как перед неуправляемым и сильно возбужденным чем-то человеком, который неизвестно, что сейчас сделает: крикнет или бросится.

А Борох молился скороговоркой, резко покачивая верхней половиной туловища. (...)

Из холщевых мешка он достал истрепанную книжку, открыл ее и, почти не заглядывая в текст, начал: — Ну, так. Рабами были мы в земле Египетской, и Бог, Господь наш, вывел нас оттуда рукою крепкою.

Он читал долго, по ходу чтения беря на язык то шепотку соли, то волоконец хрена, то каплю повидла. Закончив читать, он отодвинул книжку и сказал:

— Теперь можно выпить по глотку.

Пейсаховка оказалась крепчайшей, и это вселило в голодного Дивьера приятные надежды. Шафиров, выпив, тоже оживился, смачно крякнул и потянулся за закуской, но Борох Лейбов, нагнувшись над столом, шлепнул его по руке.

— Очередь еды еще не пришла! — морщась, как от горького, сказал Борох Лейбов. — Терпите! Еврей должен терпеть, и тогда он поймет, что он настоящий еврей.

— Да, надо терпеть, — эхом откликнулся Лакоста и поправил на голове сбившуюся ермолку. — Ничего не поделаешь...

— Бунтующие против терпения подобны баранам

и козлам, — поддержал Лакосту Борох и, привычно воздев руки, приставил их к голове наподобие рогов. — Бунтовать можно только против гонителей нашей веры, и это — мицве.

— И вы бунтуете? — с любопытством спросил Дивьер.

— И я бунтую, с Божьей помощью, — подтвердил Борох Лейбов, неприязненно взглянув на Дивьера. — И я во славу Божию открою хедер у нас в Зверятках, и евреи, — тут он перевел взыскующий взгляд на Шафирова, — все евреи мне должны помочь!

— Ну, конечно, конечно! — облегченно воскликнул Шафиров, дождавшийся, наконец, просьбы от своего сурового гостя и сразу почувствовавший себя более уверенно. — Мы поможем вам деньгами — инкогнито, разумеется — а вы открывайте там у себя под Смоленском хедер.

Борох Лейбов, однако, ничуть не потеплел, голос его звучал по-прежнему сухо:

— Сказано: безымянный жертвователь более угоден Богу, чем назвавшийся... Ну, так: повторяйте за мной, рэб Шапир: И наслал Бог, Господь наш, моровую язву на египтян, детей фараоновых...

В коридоре, ведущем к подвалу, отчетливо прозвучали приближающиеся шаги.

— Кто это? — быстро спросил Дивьер.

— Илья-пророк — повернув голову, тревожно пошутил Шафиров.

Ковровая портьера с треском отпахнулась. На пороге, потирая ушибленный о низкий косяк лоб, стоял Петр. Оглядев из-под кулака в ужасе повскакавших из-за стола людей, он довольно усмехнулся произведенному замешательству. Потом, тяжело ступая по коврам, прошел к голубому бархатному

креслу, глубоко в него опустился и удобно разбросал длинные ноги.

Шафиров, открыв рот, немо уставился на царя в кресле. Дивьер покусывал тонкие губы, желваки его прыгали под кожей. Лакоста и Борох Лейбов, глядя в разные стороны, шептали молитвы.

— Что ж это, вы тут гуляете, Пасху свою жидовскую празднуете, а меня и пригласить забыли! — с шутливым укором сказал Петр. — А мне на вашу Пасху поглядеть весьма любопытно и даже полезно для общего знания... Налей-ка мне, барон, вот из этого! — Петр вытянутым пальцем указал на штоф.

Неверной рукой Шафиров нацедил пейсаховки в серебряный кубок и подал царю. Петр выдохнул, перекрестился и одним длинным глотком опрокинул водку в рот.

— Хороша! — отфыркнувшись, похвалил Петр и, поискав по столу глазами, схватил лежавший перед Борохом на тряпице кус мяса и вгрызся, зажевал. — А вы что остановились? Продолжайте!

Медленно, натужно согнулся Борох Лейбов над своим мешком, выудил оттуда черную ермолку и молча протянул царю. Шафиров побелел, ему нечем стало дышать. Продолжая жевать, Петр с интересом повертел в руках убор, заглянул вовнутрь его и, ничего там не обнаружив, кроме сала и перхоти, надел на голову.

— Ну, так, — настороженно взглянув на царя, сказал Борох Лейбов, — кто хочет, может за мной повторять: И послал Бог, Господь наш, моровую язву на египтян, детей фараоновых...

Более всего Шафирову не хотелось, чтобы Борох Лейбов назвал его сейчас „рэб Шапир”.

Памяти Беломорья...

...

В том краю, где моря Белого
заповедный слышен вздох,
где сладка морошка спелая
и горит багрянцем мох,

где потом Петра Баранова
у Секирного холма,
возвращая Богу заново,
бич зарезал задарма,

где водил я в осень лодочку,
запирал покрепче дверь
и в холодной келье водочку
пил, заросший, точно зверь,

— что теперь в том мире деемся?
Верно, всё как было встарь!
Водка-дрянь в порту имеется,
часто ленится почтарь.

И душа моя — в то белое
искрометное кольцо
опускает задубелое
постаревшее лицо.

1977

Из книги стихов „С последним солнцем”, выходящей
в издательстве „La Presse Libre”, Париж.

ПИСЬМО

Если вырвусь я из железных лап
и не буду мечен, хоть малость слаб,

— притеку на море, гранитный край,
и гадюкой в бурый вползу лишай.

Заведу имущество: лодку, снасть,
и в блокнотце ветхом решусь попрясть.

Напишу и скомкаю, так: „Илья!”
...,,Драгоценный мальчик, где ты? Где я

толпы душ положены невзначай.
Если будут спрашивать, отвечай

на вопросы старших одно и то ж:
у отца в хибаре топор и нож.

А покажут фотку, скажи: *не он*.
На тропе гнездо, комариный звон,

никого в норе, нараспашку дверь
— всё к тому, что я *не такой* теперь”.

1981

ТРИПТИХ

...голос крови брата твоего вопиет ко
Мне из земли.

БЫТИЕ, 4, 10

I.

Словно полукафтанье опричника
проскользнуло меж глянца берез.
За занозистой резкой наличника
наше царство в собачий мороз,
точно зеркало, с маху раздроблено
и в единый кулак сведено.
Бочке с квасом хмельным уподоблено,
верно, нашим Всевышним оно.

За картофеля выцветшим ситчиком
сжатый в копны, пожух сенокос.
Плесневеет над спелым черничником
крест на кладбище — брусья вразброс.
Словно хлебное месиво квасится,
меж осклизлых камней солона,
заиграет, застонет, окрасится
кверху вспоротым брюхом — волна.

II.

Песчаная отмель в спиральках червей
запала в гранитную гальку,
где в куколе черном отшельница-ель
пригрела залетную чайку.

Как в беглую цель,
когда белый ветер пускает пращу
бухому вослед экипажу,

я руку по локоть в волну опускаю,
осклизлую гриву поглажу,
и вдруг

ухвачу ее наверняка
малькам и моллюскам в угоду,
как труп пощаженного Богом зэка,
волнами прибитого издалека,
еще сохранивший породу.

III.

За отбросами моря вонючими
солнце в матовой ауре-мгле
сыплет искрами в волны колючими,
что становятся ржаво-гремячими,
словно жечь в соловейском кремле.

На остывшей золе
в стороне — за гнилыми бараками
пред бесследностью братских могил,
как пред Богохранимыми раками,
помолюсь не крестами — а знаками,
будто сам я кого-то убил.

1981

СВЕРЧОК

Сверчок в изголовье, что мелешь, скажи.
Причудливо песен твоих миражи

встают — от жемчужин до гнили домов,
обмоченных впрок мужиками с углов.

Я весь истаскался, в родимых краях,
как цуцик, живу с нищетой на паях.

На что уж — и то капитальной меня
сверчок супротив темноты и огня.

Никто не пытается: о чем он поет,
как любит, сколь долго на свете живет

и где умирает — все в том же углу?
пока из печи выгребают золу...

Каприз роговицы в минуту труда
словесного, впрочем, и то не беда,

светла, что горошина в спелом стручке,
слеза по смененному братом сверчке.

1981

ПАМЯТИ БЕЛОМОРЬЯ

Долгогривые травы на скользких камнях:
блещут ракушки в космах, моллюски в корнях,
и на кромке отлива
в медовеющих выбросах блёсткая слизь.
Как тучна и дородна, проспась, приглядись,
беломорская нива!

Но какого жнеца молодит зеленца?
И земля под ногами червива.

Вкруг шиповника дикого миг покружу,
заскорузлую руку платком обвяжу,
словно кисть перебита,

брошу розу под чайки тревожащий зов
на примятый в тридцатых ногами рабов
пласт прибрежный гранита.

Папироски дрянца. У такого гребца
и такое корыто.

Не спеши относить мою лодку, волна:
может быть, мы не всё получили сполна,
и пока на колени
не поставил в кожанке запойный паша,
неустанно в о п л о т ь одевает душа
неотмщенные тени.

1981

О свободе и самоуправлении в России

Часть 2

9. ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И РЕВОЛЮЦИЯ 1905—1906 гг.

В подавляющем большинстве своем русская интеллигенция состояла отнюдь не из „чеховских типов” (таких было ничтожное меньшинство), а из людей добросовестного труда и жертвенного служения. Это были народные учителя и учительницы, юноши и девушки, уходившие в деревенскую глушь и бедность, чтобы обучать и воспитывать крестьянских ребят. Это были земские врачи, ездившие — жарким летом, дождливой осенью и холодной зимой — за десятки верст, чтобы помочь больным людям. Это были знающие и опытные инженеры-путейцы, построившие за 13 лет грандиозную трансибирскую железную дорогу. Это были горные инженеры, за 10—15 лет создавшие в южных степях крупную металлургическую и горнозаводскую промышленность. Среди состоятельного купечества и промышленников было немало людей, жертвовавших средства на благотворительные и культурные учреждения, начиная с больниц и приютов и кончая Третья-

ковской галереей и Московским художественным театром.

На рубеже двух столетий мы видим в России и всесторонний расцвет духовного творчества: науки, литературы и искусства. Университетов было мало, но в них успешно развивались все области научных знаний. Вспомним не только Менделеева и Павлова, но и Ключевского и Струве. Вспомним не только „серебряный век” русской литературы, но и творческие поиски в области театра, в живописи и балете, поиски, выдвинувшие Россию на ведущее место в Европе.

В идейно-политических убеждениях русской интеллигенции 80-х и 90-х годов XIX века складываются три направления; каждое из них имело свой „толстый” ежемесячный журнал. Конечно, существовала цензура и авторы писали с оглядкой на нее, но цензоры следили лишь за тем, чтобы в статьях не было „опасных терминов”, а „опасные мысли” без особых затруднений проникали на страницы органов печати.

Рупором „неонародников” (оформившихся в начале XX века в партию социалистов-революционеров) был журнал „Русское богатство”; главным проповедником „неонародничества” был Н. К. Михайловский. Марксисты — во главе с Г. В. Плехановым (Бельтовым) — группировались вокруг журнала „Мир Божий” (переименованного в начале XX века в „Современный Мир”). Журналом либералов была „Русская Мысль”.

На рубеже XIX и XX столетий почти все слои русского населения были недовольны своим положением. Крестьяне не думали о каких-либо конституционных реформах: у них были свой сельский сход и свой выборный президент — сельский староста, — но их угнетала растущая бедность, причи-

ну которой они видели в „малоземелье”, вызванном, по их убеждению, тем, что „господа” забрали себе слишком много земли. Предвестниками массовых аграрных погромов 1905—1906 гг. были крестьянские беспорядки весной 1902 г. в Харьковской и Полтавской губерниях, где было разграблено несколько десятков дворянских усадеб.

Промышленные рабочие — как и повсюду в начальной стадии развития капитализма — были угнетены чрезвычайной продолжительностью рабочего дня, недостаточностью заработной платы и плохим состоянием бытовых условий. Уже с 1896 г. начались экономические забастовки (запрещенные законом) и рабочие стали внимательно прислушиваться к проповеди социал-демократов марксистов.

Либеральная интеллигенция (земцы, значительная часть профессуры и лица свободных профессий), если не угнетенная, то утомленная режимом Победоносцева, желала коренных политических реформ: введения народного представительства и предоставления населению основных гражданских свобод. Глашатаем этих требований стал экономист, социолог и историк П. Б. Струве, начавший в 1902 г. издавать в Штутгарте журнал „Освобождение”, который легко проникал в Россию и распространялся в ней, подобно „Колоколу” Герцена в 1860-х гг.

Первой открыто выступившей против правительства группой населения было студенчество. Поводом послужил новый университетский устав 1884 г., отменявший университетскую автономию, данную уставом 1863 г. (выборы ректора университета советом профессоров), введивший должность „инспектора студентов”, ношение форменной одежды и обязательное посещение лекций. Недовольство новым уставом и начальством проявилось 8 февра-

ля 1899 г., когда, после собрания в С.-Петербургском университете, толпа студентов и гостей (главным образом курсисток) заполнила площадь перед университетом. Конная полиция получила приказ разогнать толпу, причем полицейские били студентов нагайками по головам. Это побоище вызвало чрезвычайное возмущение студенчества и всего русского общества. Сначала объявил забастовку С.-Петербургский университет, а затем „забастовка протеста” охватила все русские университеты и многие другие высшие учебные заведения.

Резолюции студенческих сходок сначала требовали наказания виновных в побоище 8 февраля, потом говорили о гражданских правах студентов, нарушенных уставом 1884 г., а затем — под влиянием агитации левых ораторов — о гражданских и политических правах всего населения. Часто после сходок происходили уличные демонстрации. То усиливаясь, то ослабевая, студенческое движение продолжалось до 1905 г., когда оно влилось в общий поток революции.

Вспыхнувшая в январе 1904 г. война с Японией и ее неудачный ход усилили недовольство правительством. В июле 1904 г. был убит консервативный министр внутренних дел Плеве. На его место был назначен либеральный деятель князь П. Д. Святополк-Мирский, заявивший о необходимости сотрудничества правительства и общества. Осень 1904 г. стала временем „политической весны”.

Печать принялась свободно критиковать бюрократические порядки и обсуждать вопрос о необходимости коренных политических реформ. Буржуазия и интеллигенция устраивали политические банкеты, где произносились речи о необходимости преобразования самодержавно-бюрократического строя. О том же говорили резолюции, которые при-

нимали разные профессиональные съезды, в том числе ноябрьский съезд земских деятелей.

9 января 1905 г. в Петербурге рабочих, шедших к Зимнему дворцу для подачи царю петиции о своих нуждах и требованиях, встретили выстрелами: убито и ранено было несколько сот человек. „Кровавое воскресенье” превратило освободительное движение в революцию.

Если в течение XIX века многие русские патриоты, будучи недовольны правительством, хотя бы могли находить утешение в силе и доблести русской армии, то военные поражения 1905 г. нанесли тяжелый удар их национальной гордости и требование „долой самодержавие” нашло широкий отклик и в их среде.

Летом 1905 г. образовалось много профессиональных союзов лиц интеллигентных профессий — адвокатов, врачей, профессоров, инженеров, железнодорожных и почтово-телеграфных служащих и др. Их представители образовали „Союз союзов”; его цели были, в первую очередь, политическими: преобразование России на демократических началах, которое должно осуществить Учредительное собрание, избранное на основе „четырёххвостки”, что на жаргоне того времени означало всеобщее, прямое, равное и тайное избирательное право.

27 августа 1905 г. был издан указ, возвращавший университетам отнятую у них в 1884 г. автономию и разрешавший студентам устраивать собрания в стенах университетов. В результате университетские помещения сделались местом политических митингов с участием „посторонних лиц”, на митингах этих нередко слышались прямые призывы к вооружённому восстанию.

Манифест 17 октября 1905 г., предоставивший Государственной Думе право участия в законода-

тельстве, обсуждения государственного бюджета и контроля над „законностью действий” назначенных царем властей, внес раздвоение в среду оппозиционной интеллигенции. Буржуазия и умеренные либералы склонны были удовлетвориться полученными уступками и образовали „Союз 17 октября”, готовый сотрудничать с правительством. Лево-либеральная часть интеллигенции объединилась в „Конституционно-демократическую партию”, которая, отказываясь от вооруженного восстания, заявила, однако, что она будет продолжать борьбу с правительством до установления в России парламентарного строя, при котором высшая власть в государстве принадлежит не царю, а парламентскому большинству.

Крестьянство в 1905 г. показало, что оно уже не было тем консервативным и преданным царю сословием, каким считала его петербургская бюрократия. Некогда высокий авторитет царя в массе крестьянства и в рядах армии был подорван обнищанием деревни, с одной стороны, и поражениями в японской войне — с другой. Вспоминается характерный разговор с одним старым крестьянином в Курской губернии в июне 1906 г. Он жаловался на бедность и нужду и закончил свой рассказ таким прогнозом: „Ну што ж! Если царь нам не поможет, то солдаты изделают забастовку: придут к царю, побросают ружья у кучу и скажут: Ваше Императорство! Возьмите ваш струмент. Вы об нас не заботитесь, так и мы вам больше служить не хотим”.

Если в 1870-х годах крестьянство весьма холодно приняло „народников”, пришедших в деревню с проповедью социалистических и анархических идеалов, то в 1905 г. крестьяне внимательно прислушивались к речам эсеровских агитаторов о том, что царь всецело на стороне угнетателей, т. е. помещи-

ков и чиновников, и крестьянам от него ничего доброго ожидать нельзя. Весною 1905 г. произошел погром нескольких десятков помещичьих имений в Курской и Орловской губерниях.

Летом в Москве образовался „Всероссийский крестьянский Союз”, формально беспартийный, но фактически находящийся под сильным влиянием эсеровской идеологии. На учредительном съезде Союза присутствовало около 1000 делегатов от 22-х губерний. Союз ставил своей целью „руководить крестьянством в борьбе за землю и волю”. Программная резолюция требовала перехода всей земли в собственность народа, с тем чтобы земля давалась в пользование только тем, кто ее обрабатывает. Политическая программа Союза содержала обычное в то время требование созыва полномочного Учредительного собрания.

Союз развил энергичную агитацию среди крестьянства и участвовал в избирательной кампании при выборах в первую Государственную думу, помогая проводить левых кандидатов, образовавших в Думе фракцию „трудовиков”. Но политической партией Союз не сделался и после революции деятельность его заглохла. Однако многие крестьянские избиратели (особенно на выборах во вторую Думу) голосовали не только за „трудовиков”, но и за кандидатов — членов революционных партий: за социалистов-революционеров и социал-демократов.

Осенью 1905 г. аграрные беспорядки приняли массовый характер: во многих губерниях, особенно в Поволжье, тысячи помещичьих усадеб были разгромлены и частично сожжены.

Революционное движение к этому времени захватило и вооруженные силы, в особенности флот, где служили преимущественно молодые рабочие. Известны восстания матросов на броненосце „Потем-

кин", на крейсере „Очаков", в Кронштадте и Севастополе.

Трехмиллионная масса промышленных и горно-заводских *рабочих* принимала самое деятельное участие в революции 1904—1906 гг. Их основным оружием были забастовки, а руководителями — социал-демократы, формально объединенные в Российскую Социал-Демократическую Рабочую Партию, но фактически разделившиеся на две партии: большевиков и меньшевиков. Формально — их общей „программой-минимум" было низвержение самодержавия и замена его демократической республикой.

Волна стачечного движения достигла наивысшей точки в середине октября 1905 г., — страну охватила всеобщая забастовка, к которой примкнули и работники железнодорожного транспорта. В результате — правительство было вынуждено издать 17 октября конституционный манифест.

Для руководства стачечным движением — по инициативе рабочих С.-Петербурга — был создан *Совет рабочих депутатов*. 13 октября 30 депутатов от разных заводов Петербурга собрались в здании Технологического института и положили начало этой новой организации. За полтора месяца число членов Совета возросло до 500; в большинстве своем это были рабочие металлургических заводов. Левые партии, увидев в Совете зародыш будущего рабочего парламента, могущий противостоять царскому правительству как самостоятельная политическая сила, предложили Совету сотрудничество.

Исполнительный комитет Совета состоял из 31 человека: 14 представителей от семи районов города; 8 — от четырех крупнейших профсоюзов; и по 3 человека от каждой из трех партий — эсеров, большевиков и меньшевиков. В С.-Петербурге Совет

стал как бы параллельным правительством. С 17 октября он начал издавать свои „Известия” с „манифестом” и призывами к народу. Считая манифест 17 октября уступкой совершенно недостаточной, Совет призывал к низвержению царского правительства, созыву Учредительного собрания и учреждению демократической, основанной на всеобщем избирательном праве республики с 8-часовым рабочим днем.

2 ноября Совет выпустил призыв к новой всеобщей забастовке как протесту против введения военного положения в Польше и против смертной казни, угрожавшей матросам — участникам кронштадского мятежа. Однако призыв этот не встретил широкого отклика, правительство обещало не казнить матросов, и 5 ноября забастовка была отменена.

После полуторамесячного „сосуществования” с Советом правительство, под председательством графа Витте, решило перейти в наступление. 26 ноября председатель Совета Хрусталева-Носарь был арестован; его временным заместителем был избран Лев Троцкий. 2 декабря Совет выпустил „финансовый манифест”, в котором он призывал население не платить налогов, вынимать вклады из сберегательных касс и требовать, чтобы заработная плата выплачивалась исключительно золотом. Правительство ответило арестом всего состава Совета, и его деятельность была прекращена. Призыв левых партий к протесту встретил отклик лишь в Москве, где началась забастовка, перешедшая в вооруженное восстание. Правительство направило в Москву лейб-гвардии Семеновский полк, который после нескольких дней уличных боев восстание подавил.

В январе 1906 г. военной силой были подавлены восстания на окраинах государства, а 23 апреля были изданы „Основные государственные законы”,

содержавшие постановления об ограничении власти императора, об устройстве и функциях Государственной Думы и Государственного Совета, о гражданских правах и обязанностях российских подданных*.

27 апреля торжественным заседанием в Зимнем дворце было положено начало деятельности Государственной Думы. Период русской истории с абсолютной властью императора заканчивался. Страна вступает в период Думской монархии.

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Народное представительство в России было учреждено рядом государственных актов, начиная с Манифеста 6 августа 1905 г. и кончая „Основными государственными законами” 23 апреля 1906 г. По первоначальному, августовскому, проекту Дума должна была быть лишь „законосовещательным установлением”, выбранным на основе цензового представительства. Манифестом 17 октября 1905 г. Думе были даны законодательные права: „Никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы”. Указом 11 декабря круг избирателей был значительно расширен. Практически все мужское население страны старше 25 лет, кроме солдат, студентов, поденных рабочих и части кочевников, получило избирательное право. Но право это не было прямым и оставалось весьма неравным для избирателей различных категорий. Подобная система была характерной для ранних стадий

* Marc Szeftel, *The Russian Constitution of April 23, 1906. Political Institutions of the Duma Monarchy*. Bruxelles, 1976. См. рецензию в журнале „Посев” № 2, 1979.

народного представительства во всех европейских странах.

Депутаты в Государственную Думу избирались „избирательными собраниями” предписанного числа выборщиков от каждой губернии и от 27 крупнейших городов. Выборщики, в свою очередь, избирались четырьмя отдельными куриями избирателей: землевладельцами, крестьянами, городскими жителями и заводскими и горнопромышленными рабочими. *Землевладельцы* с полным земельным цензом (в Средней России — около 150 десятин) непосредственно участвовали в уездных съездах землевладельцев, голосовавших за выборщиков от губернии. Мелкие землевладельцы выбирали уполномоченных в уездный съезд, по одному на каждый полный ценз. *Крестьянское* представительство было четырехступенчатым. Крестьяне голосовали за представителей в волостной сход, которые выбирали уездный съезд уполномоченных от волостей, избравший, в свою очередь, выборщиков в губернское избирательное собрание. *Городское население* мелких городов также голосовало за выборщиков в губернские избирательные собрания, в то время как крупные города имели собственные избирательные собрания, наравне с губернскими. *Рабочие* выбирали съезд своих уполномоченных, который избирал выборщиков в избирательное собрание губернии или крупного города. Представительство и горожан, и рабочих было, таким образом, трехступенчатым. Однако число выборщиков, предоставленное фабричным и горнопромышленным рабочим, было значительно лишь в Петербурге, Москве и Владимирской губернии.

Наряду с новым „Учреждением Государственной Думы” 20 февраля 1906 г. было издано и новое положение о Государственном Совете, который был

реформирован и, ко всеобщему разочарованию, стал верхней палатой, обладающей теми же правами, что и Дума. Все законопроекты, принятые Думой, должны были затем поступать в Государственный Совет и лишь в случае принятия их Советом представлялись на утверждение императора.

Половину преобразованного Государственного Совета составляли его выборные члены, половину — члены „по высочайшему назначению”; председатель и вице-председатель ежегодно назначались государем. В избираемой половине Государственного Совета социальные и общественные силы страны были представлены так: от православного духовенства — 6; от Академии Наук и университетов — 6; от земских собраний — 34; от дворянских обществ — 18; от торговли и промышленности — 12; от съездов землевладельцев не-земских губерний — 22 (из них 6 от Царства Польского), всего 98 человек. Такое же количество членов ежегодно назначалось государем „к присутствию” в Государственном Совете из высших государственных сановников.

23 апреля 1906 г. были изданы „Основные государственные законы” (изменение которых могло последовать только по почину государя). Согласно им, „Императору Всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть”. Слово „самодержавная” осталось от прежнего текста основных законов, но слово „неограниченная” из нового текста было исключено. Власть управления принадлежит государю „во всем ее объеме”, но „законодательную власть Государь Император осуществляет в единении с Государственным Советом и Государственной Думой”; „никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы и воспринять силу без одобрения Государя Императора”. В случае,

если во время перерыва сессии законодательных палат явится необходимость в принятии какой-либо экстренной меры, имеющей законодательный характер, то она, по представлению Совета министров, проводится императорским указом, с тем, однако, что по открытии законодательной сессии мера эта в течение двух месяцев должна быть внесена на одобрение Думы, иначе она автоматически прекращает свое действие (статья 87-я).

Вторая глава Основных законов, „О правах и обязанностях российских подданных“, обещает гражданам неприкосновенность личности, жилища и собственности, право устраивать собрания, общества и союзы („в целях, не противных законам“), свободу вероисповедания и право „высказывать изустно и письменно свои мысли, и равно распространять их путем печати“ — „в пределах, установленных законом“.

Первая Государственная Дума. Состоявшиеся весной 1906 г. выборы в Первую Государственную Думу не были, конечно, ни прямыми, ни равными; но, по условиям тех лет, они приближались к всеобщим. Несмотря на сложность избирательной системы, население быстро с ней освоилось и выборы прошли в полном порядке. И очевидно, что выборы эти были *свободными*: они дали решающее большинство оппозиционным партиям.

В состав Думы вошло 15 социал-демократов меньшевиков (преимущественно кавказцев); около 100 трудовиков, которых можно считать почти всех социалистами-революционерами, около 170 конституционных демократов, согласно программе которых Россия должна была стать парламентской монархией; около 100 беспартийных; свыше 50 представителей нерусских окраин, отстаивавших автономию своих областей; около 40 „прогресси-

стов", преимущественно членов партии мирного обновления и партии демократических реформ, в политическом спектре занимавших место между кадетами и октябристами; наконец, около 30 октябристов и умеренно-правых. (Следует отметить, что данные о партийной принадлежности членов всех четырех Дум приблизительны, так как в их составе происходили политические перегруппировки.)

В своем адресе царю Дума потребовала отмены исключительных законов, принудительного отчуждения частновладельческих земель, полной амнистии всем политическим заключенным, включая террористов, отмены смертной казни, и т. д. Адрес был принят единодушно и лишь 11 членов Думы уклонились от голосования.

В своей ответной декларации правительство обещало отнестись „с особливим вниманием" к разработке проектов необходимых реформ, но отвергало все приведенные выше требования, — в частности, требование о принудительном отчуждении земли. Дума, со своей стороны, потребовала отставки правительства — и стала повторять это требование при каждом переходе к обсуждению очередных дел. Полное расхождение между Думой и правительством по аграрному вопросу непрерывно обостряло конфликт. Правительство доказывало, что аграрные проекты 42-х (кадетов) и 104-х (трудовиков) дадут крестьянам лишь небольшую прирезку земли, но неизбежное при этом разрушение культурных хозяйств причинит стране большой убыток. Думские же ораторы смеялись на тем, „как часто правительство прибегает к четырем правилам арифметики". 20 июня правительство обратилось к населению с сообщением по аграрному вопросу, в котором отвергало принцип принудительного отчуждения. Дума, со своей стороны, по-

становила обратиться к населению с сообщением, что она не отступит от этого принципа. Правительство усмотрело в таком обращении „действие явно незаконное” (закон обращений Думы к населению не предусматривал) и 8 июля распустило Думу.

Вторая Государственная Дума. Несмотря на разрозненные попытки правительства повлиять на ход избирательной кампании, выборы во Вторую Думу дали еще больший перевес левым партиям. В Думу было избрано 65 социал-демократов; 37 членов партии социалистов-революционеров (организации, широко практиковавшей революционный террор) плюс 16 народных социалистов и 104 трудовика, близких к эсерам по идеологии, хотя и не по революционной практике; кадеты составляли около 100 человек, а близкие к ним „прогрессивные” партии около 90; октябристов, „умеренных” и „правых” было около 50. Таким образом, число хотя бы только терпимо относящихся к правительству депутатов было невелико и поэтому неудивительно, что шансов на совместную работу Думы и правительства не было.

Вторая Дума приступила к работе 20 февраля 1907 г., и, несмотря на ее оппозиционный состав, новый премьер-министр П. А. Столыпин попробовал наладить с ней контакт. Правда, и кадеты и трудовики хотели „беречь Думу против черносотенного заговора”, и даже социал-демократы и социалисты-революционеры несколько сдерживались. Последние заявили, что на время деятельности Думы они прекращают революционный террор. 6 марта 1907 г. Столыпин выступил в Думе с правительственной декларацией, в которой он сообщал о мерах, принятых в период „междудумья”, и доказывал их неотложность.

Эти меры, принятые в соответствии со статьей 87-й Основных законов, включали, прежде всего, закон 19 августа 1906 г. о военно-полевых судах, которые состояли только из офицеров, разбирали дело в течение 1—2 суток и выносили приговоры, подлежащие немедленному исполнению. Закон этот не был представлен правительством на рассмотрение Второй Думы, и весной 1907 г. его действие прекратилось; по приговорам военно-полевых судов было казнено 683 человека, в то время как в результате революционного террора в 1906 г. было убито 768 человек и ранено — 820.

В соответствии со статьей 87-й Столыпин провел и ряд коренных реформ, в том числе указ от 5 октября об уравнивании крестьян в правах с другими сословиями и указ от 9 ноября о праве крестьян закреплять за собой их наделы, превращая их в свою личную собственность.

В выступлении 6 марта в Государственной Думе Столыпин изложил также программу будущих реформ: крестьянское равноправие и крестьянское землеустройство; „бессловная самоуправляющаяся волость в качестве мелкой земской единицы”; реформа местного управления и суда; передача судебной власти в руки мировых судей, избираемых населением; по рабочему вопросу — легализация профессиональных союзов, ненаказуемость экономических стачек, страхование рабочих в случаях болезней, увечий, инвалидности и старости, сокращение рабочего времени; школьная реформа: „общедоступность, а впоследствии и обязательность начального образования”; финансовая реформа: „облегчение налогового бремени народных масс и введение подоходного налога”.

Левые ораторы в Думе подвергли и эту программу резкой критике; отвечая на нее, Столыпин за-

явил: „Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти, паралич воли и мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: „руки вверх!“ На эти слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: не запугаете!“ Дума, на этот раз, не потребовала отставки правительства, а „просто“ перешла к рассмотрению очередных дел. Однако это состояние „ни мира, ни войны“ не содействовало успешной законодательной работе. Дума готова была то без рассмотрения отвергнуть государственный бюджет, то не давать правительству новобранцев (эти законопроекты еле-еле прошли), а затем отказалась принять к рассмотрению предложение правых о порицании революционного террора. Наконец, Столыпин мог с полным основанием ожидать, что Дума отклонит его главную реформу — закон о праве крестьян на выход из общины, — и потому счел необходимым искать выхода на внеконституционных путях*. Он не помышлял об отмене Думы, но и не мог надеяться, что Третья Дума — выбранная по существующему избирательному закону — с большим вниманием отнесется к его программе преобразований. Поэтому Столыпин решился на крайний шаг — изменение избирательного закона, тем более, что государь, недовольный Думой, его к этому побуждал.

Поводом для роспуска Думы послужило спорное дело о сношениях думской фракции социал-демократов с „военной организацией РСДРП“, которая

* Исчерпав все возможности договориться с Милюковым и лидерами других общественно-политических группировок о „Правительстве доверия“. См. сб. „Россия в эпоху реформ“, изд. „Посев“, 1981, сс. 149—179. — Прим. ред.

готовила вооруженное восстание в войсках. 3 июня 1907 г., одновременно с манифестом о роспуске Государственной Думы, было опубликовано новое „положение о выборах”. Изменение избирательного закона было проведено, несомненно, с нарушением манифеста 17 октября, и потому этот акт был воспринят как „государственный переворот”. Однако трудно сказать, как Столыпин мог иначе сохранить народное представительство, если оппозиция слева требовала покончить с монархическим способом правления страной, а оппозиция справа требовала положить конец думской „говорильне”.

Новый избирательный закон сильно урезал представительство окраин: Польша должна была вместо 36 посылать 14 депутатов, Кавказ вместо 20 — 10. Средняя Азия была вовсе лишена думского представительства. От Европейской России надлежало теперь избрать 403 члена Думы, от Азиатской — 15, а общее число депутатов составляло 442.

Из общего числа 5 161 выборщика от 51 губернии Европейской России численно небольшой курии землевладельцев было предоставлено 50,5% выборщиков вместо прежних 31%. Крестьянская курия, представлявшая 75% населения, теперь выбирала 22,5% выборщиков, вместо прежних 42%. Горожане по-прежнему избирали 27% выборщиков, но они теперь были разделены на две курии, причем в первую входили „цензовые элементы”, т. е. владельцы недвижимой собственности, которым было предоставлено избирать более половины городских выборщиков. Отдельное городское представительство было сохранено лишь в 7 из прежних 27 городов. Однако каждое губернское избирательное собрание должно было избрать хотя бы по одному депутату Государственной Думы от каждой курии (землевладельческой, городской и крестьянской);

кроме того, в шести наиболее промышленных губерниях хотя бы по одному депутату Думы следовало избирать от рабочих.

В результате избирательного закона 3 июня 1907 г. первой по величине фракцией в Третьей Думе стал „Союз 17 октября”, получивший около 150 депутатов. Около 100 депутатов получили националисты и „умеренные правые”; эти группировки „центра” и составили в Третьей Думе „стольпинское большинство”. Крайне правых депутатов было около 50, в то время как левая группировка — трудовики и социал-демократы — насчитывали лишь около 30 человек. Конституционных демократов и „прогрессистов” было около 90 человек. Кроме того, 26 депутатов получили представители окраин — Польское коло, польско-литовско-белорусская группа и мусульмане. Социалисты-революционеры Третью Думу бойкотировали.

Третья Государственная Дума была единственной, которая плодотворно работала в сотрудничестве с правительством весь свой пятилетний срок, с 1907 по 1912 год. Эти годы почти совпадают с тем временем, когда во главе правительства стоял П. А. Столыпин (1906—1911), и эта „стольпинско-третьедумская эпоха” была временем исключительных успехов во всех областях народной жизни — социально-экономической, судебно-административной и культурно-образовательной.

При этом надо иметь в виду, что реформаторская деятельность Третьей Думы не раз тормозилась оппозицией Государственного Совета, состоявшего наполовину из назначенных императором государственных и военных деятелей, которые не раз отклоняли или оставляли „без рассмотрения” принятый Думой закон, если находили, что он нарушает „исконные устои государства Российского”.

Самым важным и самым трудным вопросом в жизни Российского государства в начале XX века был вопрос крестьянский. В аграрной комиссии Третьей Думы и затем в общем собрании долго и тщательно обсуждался столыпинский указ 9 ноября 1906 г., предоставлявший крестьянам-общинникам право, по их желанию, закреплять свои участки общинной полевой земли в личную собственность. Указ этот, с дополнениями, внесенными аграрной комиссией Думы, вызвал жестокую критику слева и справа и был в общем собрании Думы одобрен очень незначительным большинством. То же произошло и в Государственном Совете. Лишь 14 июня 1910 г. был наконец издан закон „Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении”. А 29 мая 1911 г. было издано обширное „Положение о землеустройстве”, регулировавшее сложную и трудную работу землеустроительных комиссий.

Как бы ни относиться к столыпинской земельной политике принципиально, несомненно, что в думскую эпоху широкая и всесторонняя система землеустроительных и аграрных мероприятий правительства и земства значительно повысила технический уровень крестьянского хозяйства — до того весьма примитивный — и, тем самым, значительно повысила урожайность крестьянских полей. В пятилетие 1909—1913 гг. средний урожай „матушки-ржи” составлял 53 пуда с десятины: это, конечно, немного, но все же значительно больше тех жалких 30—35 пудов, которые давала крестьянская десятина в XIX веке. Общий сбор зерновых возрастал в думскую эпоху быстрее, чем рост сельского населения. Столь же быстро росло производство картофеля и сахарной свеклы.

Не оставила без внимания Третья Дума промышленность и рабочих. 23 июня 1912 г. были изданы законы о социальном страховании рабочих от болезней и от несчастных случаев на производстве. Медицинскую помощь, равно как и пенсии при потере трудоспособности от несчастных случаев, должны были полностью оплачивать владельцы предприятий. Для выплаты пособий при болезни были учреждены „больничные кассы”. Их средства составлялись из взносов рабочих и хозяев и находились в совместном распоряжении обеих сторон.

Третья Дума употребила много усилий, чтобы расширить и углубить область земского самоуправления в России: до думской эпохи земские учреждения существовали в 34-х из сотни губерний и областей империи. Однако здесь Дума натолкнулась на оппозицию Государственного Совета, консервативное большинство которого как огня боялось всякой демократизации. Правительству Столыпина и Думе удалось провести законы о введении земских учреждений в Таврической, Астраханской и Оренбургской губерниях, но дальше пошли неудачи. Дума приняла законопроект Столыпина об учреждении земства в шести западных губерниях (Киевской, Волынской, Подольской, Витебской, Могилевской и Минской), но Государственный Совет отклонил этот проект в марте 1911 г. Напористый премьер-министр уговорил царя прервать на три дня заседания законодательных палат и провести закон о западном земстве в порядке „высочайшего указа”, согласно статье 87-й. Столь вольное обращение с конституцией вызвало конфликт и ослабило положение Столыпина при дворе и в обществе.

Принятые Думой законопроект о введении земства в Архангельской губернии и в области Войска Донского были „не рассмотрены” Государствен-

ным Советом, а законопроекты о введении земства в Сибири и на Дальнем Востоке были им „отклонены”. Та же участь постигла и одобренный Думой весьма важный в социальном и экономическом отношении законопроект о введении волостного земства.

Однако Государственный Совет одобрил думский закон о преобразовании суда в сельских местностях. По закону 15 июня 1912 г., судебная власть земских начальников (в деревне), далеко не всегда придерживавшихся духа и буквы закона, передавалась в руки мировых судей, избираемых уездными земскими собраниями, как это и было установлено судебными уставами Александра II в 1864 г.

Живейший интерес Третья Дума проявляла к развитию народного образования. Широко и быстро развивались все три ступени образования. Особенное внимание Дума уделяла начальному образованию. Ежегодно ассигновывалась особая сумма (около 10 млн. руб.) на постройку новых школ. Бюджет Министерства народного просвещения составлял в 1906 г. 44 млн. руб., а в 1913 г. — 143 млн. В эту сумму не входили расходы на специальные (технические, коммерческие) школы, находившиеся в ведении других министерств, а также расходы земства на содержание начальных народных школ, которые в 1912 г. достигли 66,5 млн. руб.

Роль правительственной партии в Третьей Думе играли октябристы, но они не составляли большинства. Кадеты, трудовики и социал-демократы были в оппозиции к министерству Столыпина. Поэтому правительству часто приходилось искать опоры в правых партиях и идти с ними на компромиссы, в результате чего курс правительства нередко принимал не отвечающее государственным интересам страны националистическое направление. В частно-

сти, одним из таких компромиссов был закон от 17 июня 1910 г., касающийся финляндской автономии.

Начиная с 1809 г. автономия Финляндии в составе Российской империи была полной; русский генерал-губернатор не вмешивался в финляндские дела, местная законодательная власть принадлежала финляндскому Сейму, и финнов не призывали в русскую армию. Финляндская автономия была урезана во времена Победоносцева, но полностью восстановлена после революции 1905 г. В июле 1906 г. царь подписал новое установление о финляндском Сейме, согласно которому Финляндия, в частности, стала первой европейской страной, где женщины получили избирательное право. На выборах 1907 г. финские социал-демократы получили 40% мест в Сейме, а прорусские старофинны — 30%. Но принятый Третьей Думой и Государственным Советом закон 17 июня 1910 г. „О порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения” чрезвычайно широко определял эту категорию и открывал двери для назойливого вмешательства в финляндские внутренние дела. Как бы в утешение, финляндскому Сейму предоставлялось избрать в Государственный Совет двух членов, а в Государственную Думу четырех, знающих русский язык, депутатов...

Столь же недалёковидной была и политика правительства по отношению к Польше. В 1909 г. оно внесло в Думу законопроект о выделении из Люблинской и Седлецкой губерний новой губернии — Холмской, в которой, по утверждению правительства, жило, наряду с польским, и русское население. Этот проект „четвертого раздела Польши”, как его иронически называли современники, долго и горячо дебатировался и был принят Думой лишь в 1912 г.

Вопрос о введении земства в шести западных губерниях также имел националистическую подоплеку. Курия землевладельцев-избирателей была разделена на русскую и польскую, с целью дать преобладание первой. Законопроект не был приемлем ни для правых, ни для левых и был отклонен в Государственном Совете непривычной коалицией прогрессистов и крайне правых. Проведение Столыпиным закона о земстве в шести западных губерниях в порядке статьи 87-й лишь ухудшило его отношения и с правыми, и с левыми.

В сентябре 1911 г. Столыпин был убит в Киеве — анархистом и, одновременно, агентом охранного отделения. Осенью 1912 г. истек и срок полномочий „стольпинской” Третьей Думы.

Четвертая Государственная Дума. Состоявшиеся осенью 1912 г. выборы в Государственную Думу четвертого созыва дали следующие результаты: правых было избрано 65, националистов — 88, „центр” — 32, октябристов — 98, прогрессистов — 48, поляков — 15, мусульман — 6, кадетов — 58, трудовиков — 9, социал-демократов — 15, беспартийных — 7. В общем партии правых и оппозиции составляли каждая около 150 человек, центр — около 130. Председателем был избран бывший председатель Третьей Думы октябрист М. В. Родзянко.

Взоры и мысли Думы и общественности в 1912—1913 гг. были направлены на Балканский полуостров, где происходила война союзных христианских государств против Турецкой империи. В июле-августе 1914 г. балканский кризис привел к мировой войне. Австро-Венгерское правительство объявило войну Сербии и начало бомбардировку Белграда. Российское правительство объявило мобилизацию вооруженных сил, а Германия 19 июля (по старому стилю) объявила войну России.

Весть о нападении Германии вызвала в России взрыв патриотизма. Забастовки, охватившие перед тем в Петербурге многие предприятия, сразу прекратились. Многотысячные демонстрации шли к Зимнему дворцу с пением национального гимна. Только Ленин за границей и часть большевиков в России с самого начала заняли пораженческую позицию.

В торжественном заседании Государственной Думы 26 июля обнаружилось полное единение Думы и правительства. В горячих речах представители всех партий и национальностей, кроме большевистской „шестерки”, выражали решимость защищать отечество от вражеского нападения. Дума единогласно (несколько „пораженцев” не приняли участие в голосовании) одобрила запрошенные правительством военные кредиты.

Земское и городское самоуправление взяло на себя обязанность помогать правительству в санитарном обслуживании, в снабжении продовольствием, обмундированием и в устранении других нужд действующей армии. С этой целью и был создан нами уже упоминавшийся „Земгор”.

Тяжелое положение на фронте, создавшееся после того как немцы, сосредоточив большие силы, перешли в мае 1915 г. в контрнаступление и к концу лета заняли Польшу, Литву и Курляндию, а также острый недостаток снарядов и патронов в русской армии, вызвали растущее недовольство правительством и в обществе, и в Думе.

Около 15 миллионов запасных, ополченцев и новобранцев было призвано в армию, но из-за отсутствия оружия большинство призывников сидело без дела в переполненных казармах ушедших на фронт полков, не проходя даже военного обучения, — так как не хватало не только оружия, но и офи-

церов. Вдобавок к этому, эвакуирующиеся с оставляемых русскими территорий массы беженцев крайне осложняли вопросы снабжения и транспорта.

Летом 1915 г. в стране царило возбуждение и недовольство. Для успокоения общества царь уволил несколько наиболее непопулярных министров, в том числе военного министра Сухомлинова. Для борьбы со „снарядным голодом” на фронте в июле 1915 г. были учреждены „Военно-промышленные комитеты”. Их работа оказалась успешной: производство боевого снаряжения значительно возросло, и летом 1916 г. армии ген. Брусилова получили достаточно оружия и снарядов для успешного наступления.

В думских речах летом 1915 г. звучала резкая критика действий правительства и выдвигалось требование „Министерства общественного доверия”. Эта отвлеченная формула означала — министерство, ответственное перед Думой, и, по сути, введение парламентского строя. Но в 1915 г. император Николай II не давал своего согласия на это. Вместо того он в 1915—1916 гг. многократно сменял министров — от премьер-министра до министра земледелия. Правый член Думы В. М. Пуришкевич назвал эти непрерывные смены „министерской чехардой”. В августе 1915 г. император принял на себя верховное командование армиями и переехал в ставку Верховного главнокомандующего в Могилев.

В конце августа 1915 г. в Государственной Думе образовался так называемый „Прогрессивный блок”, в который вошло около 300 депутатов, т. е. около трех четвертей состава Думы. В стороне остались только крайне правые и крайне левые. Программа „блока” требовала „Министерства общест-

венного доверия”, ряда реформ и широкой политической амнистии.

Замена престарелого бюрократа И. Л. Горемыкина на посту председателя Совета министров в январе 1916 г. Б. В. Штюмером, ставшим одновременно и министром иностранных дел вместо С. Д. Сазонова, вызвала всеобщее недовольство как в обществе, так и в Думе, поскольку считали, что Штюмер не был подготовлен ни для одной из этих должностей. В ноябре 1916 г. Штюмера сменил А. Ф. Трепов, а последним премьер-министром императорской России был князь Голицын.

Военное положение России в 1916 г. значительно улучшилось. В мае армия ген. А. А. Брусилова перешла в наступление на юго-западном фронте, оказав большую помощь западным союзникам России. На северо-западном фронте положение стабилизировалось. На кавказском фронте русская армия взяла Эрзерум и Трапезунд.

Но *внутреннее* положение становилось все хуже. 1 ноября 1916 г. лидер кадетской партии Милюков произнес знаменитую речь, которую он в своих воспоминаниях характеризует как „штурмовой сигнал революции”. Обращаясь к министерской скамье, он заявил: „Мы будем бороться с вами, пока вы не уйдете”. Разбирая отдельные ошибки правительства, он повторял риторический вопрос: „Что это, глупость или измена?”, прозрачно намекая на то, что „измена” гнездится где-то в высших сферах, и близкие ко дворцу люди ведут переговоры с немцами о заключении сепаратного мира.

Речь Милюкова подорвала престиж престола, хотя раскрытие секретных архивов после революции и обнаружило, что все разговоры об „измене” и о ведении тайных переговоров с немцами были клеветой.

Недовольство усугублялось экономическими причинами. Инфляция, неизбежная во время войны, снижала реальную заработную плату, а расстройство железнодорожного транспорта нарушало доставку продовольствия в города, и в первую очередь, в Петроград. Перед пекарнями образовывались длинные очереди, главным образом из жен рабочих. Сказывалась и общая усталость от долгой и тяжелой войны. При этих условиях антивоенная пораженческая пропаганда большевиков имела в рабочей среде все больший успех. На военных заводах вспыхнули забастовки, перешедшие в уличные демонстрации под лозунгом „долой войну”.

Полицейских сил для подавления этих демонстраций было недостаточно, а петербургский гарнизон не только отказался подавлять революционные демонстрации, но и сам присоединился к революционному движению.

27 февраля 1917 г. царская власть в Петрограде перестала существовать. Для поддержания порядка Государственная Дума сформировала временный комитет, а затем, 1 марта, образовала Временное правительство.

Демонстрации в поддержку Думы шли непрерывно. 1 марта петербургские полки явились к Думе, чтобы заявить о своей поддержке, и выслушали речь председателя Думы М. В. Родзянко. 2 марта делегаты Думы — октябрист Гучков и националист Шульгин — прибыли в Псков, чтобы убедить Николая II отречься от престола. Царь передал власть своему брату Михаилу, но последний, не видя силы, на которую он бы мог опереться, отказался занять опустевший трон и Манифестом 3 марта предоставил решение вопроса о форме верховной власти в России будущему Учредительному собранию. По

жестокой иронии судьбы, монархическая „третьеиюньская” Дума формально похоронила Российскую монархию и положила начало просуществовавшей 8 месяцев самой свободной в мире Российской республике.

11. КООПЕРАЦИЯ В РОССИИ

Закончив обзор политической деятельности Государственной Думы, необходимо вспомнить о широком развитии общественной самодеятельности, проявившейся в начале XX века в разных сферах и, в первую очередь, в кооперации.

Кредитная кооперация в России начала расти с конца XIX века. „Положение об учреждениях мелкого кредита” 1895 г. предусматривало развитие и создание: а) кредитных товариществ, учреждаемых либо за счет кредитов, предоставленных казною „под круговое ручательство участников товарищества”, или за счет пожертвований, либо кредитов земских, общественных или частных учреждений, б) ссудо-сберегательных товариществ и касс на паях, и в) сельских, волостных или станичных банков и касс.

„Положение” 1904 г. поручило общее заведование учреждениями мелкого кредита Министерству финансов, в котором для этой цели учреждался особый комитет; правительственные ревизоры должны были проверять отчетность учреждений мелкого кредита.

При финансовой поддержке правительства и земства эти учреждения начали расти со сказочной быстротой. В 1897 г. было всего около 600 ссудо-сберегательных товариществ (около 200 тыс. членов). В 1914 г. число ссудо-сберегательных товариществ

превысило 3000, а количество пайщиков или вкладчиков достигло почти двух миллионов. Число кредитных товариществ, составлявших в начале века около 120, превысило в 1914 г. 9 500, — с количеством членов свыше 6 миллионов человек. Кредитные кооперативные учреждения различного вида перед войной покрывали свою сетью всю Россию, а общий размер ежегодно выдаваемых ссуд превысил 500 млн. рублей.

Перед войной Россия заняла в мире первое место по развитию кредитной кооперации. Около четверти всех кредитных кооперативов были объединены в союзы, местные и губернские. В 1912 г. был открыт Московский народный банк, ставший финансовым центром кредитной кооперации: около 70% его акций принадлежали кредитным кооперативам.

Потребительские кооперативные общества в России впервые возникли в 1870-х годах. В 1897 г. был издан „нормальный устав” потребительских обществ и начался их быстрый рост. К началу 1905 г. их насчитывалось 948, а к началу 1914 г. уже свыше 10 тыс., объединявших 1,5 млн. членов; в том числе около 8 500 обществ с 900 тыс. участников составляли крестьянские кооперативы в сельских местностях. Годовой оборот потребительских обществ в 1914 г. достиг почти 290 млн. руб. Потребительские кооперативы, как и кредитные, основывали местные и губернские союзы. В 1898 г. возник Московский союз потребительских обществ, который в 1914 г. объединял до 800 кооперативов, с общим оборотом в 10,5 млн. руб. Около 1910 г. Московский союз завязал торговые сношения с целым рядом европейских стран. Перед войной потребительским кооперативам принадлежало уже несколько сот различных промышленных предприятий: мель-

ниц, пекарен, маслодельных, мыловаренных, кожевенных и кирпичных заводов, кузнечных и сапожных мастерских, конфетных и табачных фабрик.

Сельскохозяйственная кооперация была в начале XX века третьей важной отраслью кооперативного движения в России. Существовало два вида кооперативов: сельскохозяйственные *общества* и сельскохозяйственные *товарищества*. Первые имели смешанный состав. В них входили землевладельцы, земские служащие и крестьяне. Товарищества были почти исключительно крестьянскими, и свыше половины их находилось в западных губерниях. В 1897 и 1898 гг. были изданы „нормальные уставы” для сельскохозяйственных обществ и товариществ, но рост их начался после революции 1905 г. и столыпинской аграрной реформы. На 1 января 1914 г. числилось 4 685 сельскохозяйственных обществ и 1 254 товарищества. Сельскохозяйственные кооперативные общества были „общие” и „специальные”. Целью первых было оказание экономической и агрономической помощи населению устройством опытных полей и станций, снабжением своих членов сельскохозяйственными машинами и орудиями, распространением литературы по сельскому хозяйству и т. д. Вторые представляли собой как бы „подотраслевые” союзы — птицеводов, пчеловодов, садоводов, табаководов, виноделов, льноводов и др. В 1915 г. в Москве был учрежден Всероссийский союз кооперативов по переработке и сбыту льна, который в 1916 г. объединял 150 тысяч хозяйств и имел свои отделения для экспорта русского льна в Лондоне, Белфасте и Нью-Йорке.

Особенно больших успехов достигло кооперативное маслоделие в Западной Сибири, в Tobольской и Томской губерниях. Артельные маслодельные заводы возникли здесь в 1896 г., а в 1912 г. число их

превысило 1500. В 1908 г. в Кургане был основан Союз сибирских маслодельных артелей, объединяющий к 1914 г. 864 артели. Союз, при содействии правительства, существенно способствовал экспорту сибирского масла за границу; в 1894 г. было продано 400 пудов на сумму 4 тыс. руб., а в 1913 г. — 5 млн. пудов на сумму 71, 2 млн. руб. Экспорт сибирского масла шел главным образом в Англию и Германию, и Союз основал там свои конторы — в Берлине (1910 г.) и в Лондоне (1912 г.).

Широко развернулась в начале XX века культурная работа кооперации. Появилась специальная кооперативная пресса, кооперативы и их союзы устраивали читальни, библиотеки, книжные магазины, народные дома и театры, выставки и лекции, издавали книги, брошюры, календари и справочники для своих членов, издавали журнал „Русский кооператив”. В 1913 г. при народном университете Шанявского в Москве была открыта кооперативная школа. В Москве же предполагалось создать и Кооперативный институт.

В 1908 г. в Москве состоялся первый кооперативный съезд, в 1912 г. в Петербурге — съезд представителей кредитной и сельскохозяйственной кооперации. В 1913 г. в Киеве был проведен второй всероссийский кооперативный съезд, на котором присутствовало свыше 1 500 делегатов, среди которых были представители почти всех областей, национальностей и всех слоев населения. Общее число всякого рода кооперативов в 1914 г. превышало 30 тысяч. Они объединяли около 12 млн. членов, из коих значительное большинство составляли крестьяне.

Кроме кооперативных организаций, перечисленных выше, в России издавна существовали *артели* — добровольные объединения группы людей для выполнения определенной работы или для ведения

какого-либо предприятия под руководством выборного старосты и с солидарной ответственностью членов. В сельском хозяйстве такие артели в начале XX века не имели широкого распространения, хотя продолжали существовать артели рыбаков, охотников, дровосеков, косарей и др. Однако артельный труд широко применялся в строительстве и был чрезвычайно широко развит в кустарной промышленности: текстильной, кожевенной, металлургической, деревообрабатывающей, керамической и др. Существовали даже артельные мастерские иконописцев. Стали возникать, по мере развития сфер услуг, артели носильщиков, посыльных, банковских „артельщиков”; образовалось несколько союзов кустарных артелей.

„Подводя итог дореволюционному кооперативному движению в России, можно сказать, что кооперация стала необходимым элементом крестьянской жизни и жизни широких трудовых слоев городского населения, одной из основ всей хозяйственной структуры России. В частности, прогресс сельского хозяйства, столь характерный для России начала XX века, был тесно связан с развитием кооперативного кредита и всех видов сельскохозяйственной кооперации”, — пишет проф. А. Д. Билимович.

Если принять во внимание, что в число восьми с лишним миллионов членов ссудо-сберегательных и кредитных товариществ входили лишь крестьяне-домохозяева, то оказывается, что к 1914 г. больше половины всего сельского населения России было охвачено сельскими кредитными кооперативами, которые, по закону, не могли взимать по займам больше 12% годовых. Частное ростовщичество, таким образом, было в значительной мере прекращено.

По словам А. Д. Билимовича, „русское кооперативное движение и его сказочный рост в течение десятилетия перед 1917 годом показали, на какую высоту мирной созидательной работы может подняться народный дух и какие творческие силы таятся в народах России. Это движение дало нам примеры исключительной предприимчивости, практической сметки и редкой способности народа к свободной организации своей хозяйственной жизни, начиная с устройства своих маленьких низовых кооперативов и кончая созданием мощных центральных финансовых, торговых и производственных кооперативных организаций”*

Помимо экономического значения, российская кооперация играла и важную социальную и культурную роль: она начинала ликвидировать пропасть между „простым народом” и интеллигенцией, поскольку кооперативная работа была основана на дружном сотрудничестве этих двух слоев населения.

* Билимович, А. Д. Кооперация в России. — „Посев”, 1955, сс. 32—33.

О развитии кооперации см. также:

A n t s i f e r o v, A. N. and K e y d e n, E. M. Co-Operative Movement in Russia. New Haven, Conn., 1929

B l a n c, E. T. Co-Operative Movement in Russia. New York, 1924.

B u b n o f f, I. V. The Co-Operative Movement in Russia. Manchester, 1917.

П р о к о п о в и ч, С. Н. Кооперативное движение в России. Москва, 1913.

Т о т о м и а н ц, В. (много статей по истории кооперации в журнале „Русский Кооператор”, Москва, 1914—1918, и в зарубежных русских изданиях).

12. СВЕТ И ТЕНИ ДУМСКОЙ МОНАРХИИ

Политический строй. Революция 1905 г. в России принесла на смену формально неограниченной самодержавной власти конституционную монархию, или, по осторожному официальному выражению, „обновленный строй”. Не все признают за Думской монархией название *конституционной*, поскольку в России сохранилась сильная монархическая власть. Однако подобного рода конституции в то время были и в других империях — в частности, в Германской, Австро-Венгерской и Японской, по отношению к которым этот термин применялся достаточно широко.

Тем не менее, пережитки эпохи неограниченного самодержавия сохранились во многих областях жизни, в результате чего думский период русской истории был временем сложным и полным противоречий. При обсуждении в апреле 1905 г. текста будущих Основных Законов Российской Империи — в частности, при определении характера царской власти — Николай II с большой неохотой и колебаниями согласился на исключение слова „неограниченная”. Однако царь признал существование „обновленного строя” и отверг требования правых кругов о ликвидации Государственной Думы или о превращении ее в чисто совещательное учреждение.

Та же двойственность и колебания проявились и при назначении царем членов „объединенного” Совета министров. Иногда министрами назначались сторонники „обновленного строя”, т. е. согласованной работы правительства и Государственной Думы. Таковыми были Витте, Столыпин, Кривошеин, Коковцев. Но нередко назначались и его противники. Для встречи с Первой Государственной Думой в апреле 1906 г. премьер-министром был назначен за-

скоружный бюрократ И. Л. Горемыкин, воспитанник школы Победоносцева, противник народного представительства. Министром народного просвещения долгое время был профессор Л. А. Кассо, который нарушениями университетской автономии в 1911 г. вызвал забастовку профессоров: более 100 профессоров и младших преподавателей Московского университета коллективно подали в отставку.

Постоянный источник конфликтов был заложен и в самом устройстве российской конституции, давшей Государственному Совету одинаковые с Думой законодательные права. Состоявший наполовину из назначаемых ежегодно императором высоких государственных чиновников, Государственный Совет отрицательно относился ко всему, что пахло либерализмом или демократией. В частности, он затормозил распространение закона о земском самоуправлении на окраинные губернии и предотвратил создание волостных земских учреждений — в дополнение к уездным и губернским.

Тем не менее в политическом строе и политической жизни Российской империи в думскую эпоху произошли глубокие и всесторонние перемены. Если еще в 1895 г. желания земских деятелей принимать участие в делах государственного управления казались царю „бессмысленными мечтаниями”, то в 1906—1916 гг. все классы населения, включая фабричных рабочих, принимали в этих делах участие через своих выборных представителей в Государственной Думе. Речи депутатов в Думе не подвергались цензуре. Стенографические отчеты о заседаниях Думы полностью печатались в официальной газете „Россия” и рассылались по всей стране. Между тем не только в первых двух Думах, но и в Третьей и Четвертой среди оппозиционных фракций

были не только социалисты-революционеры, но и избранные рабочей курией выборщиков большевики.

Думе принадлежали законодательные, контрольные и бюджетные полномочия. В короткое „стольпинское” пятилетие сотрудничества с правительством Дума приняла важнейшие законы о выходе крестьян из общины и о землеустройстве, о социальном страховании рабочих, а также законы о расширении земского самоуправления и о восстановлении института мировых судей на селе.

Контрольное право Думы осуществлялось предъявлением правительству запросов по поводу незаконных действий администрации. Конечно, если Дума и не удовлетворялась ответом министра, то министра не увольняли, но все же думский запрос и газетный шум оказывали сдерживающее влияние на представителей даже самой высокой администрации.

Очень важны были бюджетные права Думы. Значительное большинство бюджетных статей (кроме таких, как платежи процентов по государственному долгу) подлежало обсуждению и одобрению Думы. Бюджетная комиссия Думы внимательно рассматривала представленный ей проект бюджета на следующий год, обсуждала его с представителями Министерства финансов и зачастую вносила в проект изменения — в частности, увеличивая расходы на нужды народного образования.

По сравнению с периодом 1881—1903 гг., эпоха 1904—1916 гг. и в особенности период „Столыпинской Думы” 1907—1912 гг. были временем всестороннего прогресса. И хотя многие были в то время противниками внешней и внутренней политики правительства Столыпина, внимательное и беспристрастное изучение фактов показывает, что:

а) практика Первой и Второй Думы показала невозможность совместной работы правительства с Думой левого состава. Император вообще не сочувствовал народно-представительному строю, а правые круги настойчиво советовали ему закрыть „думскую говорильню”. При таких условиях изменение избирательных законов было, по мнению сторонников реформ, единственным политически возможным путем сохранить для России хоть „кущую конституцию”;

б) смертная казнь была мерой, вынужденной совершенно необычными в условиях мирного времени обстоятельствами — массовым революционным террором. За 1905—1909 гг. революционерами было убито 2 691 человек (при этом не только высших государственных сановников), ранено — 3 222. Казнено же было 2 390 террористов;

в) подавление автономии Финляндии было фактом печальным и несправедливым; но Столыпин рассматривал это как средство привлечения в состав думского большинства фракции националистов. Последнее было нужно для проведения аграрных законов, которые Столыпин не без основания считал совершенно необходимыми для экономического возрождения страждущей русской деревни;

г) „насильственно” община на самом деле никогда не разрушалась. Вышли из общины лишь те, кто хотел получить землю в личную собственность.

Юридический строй. Противоречивы были и юридические основы „обновленного строя”. Судебная реформа 1864 г. значительно ограничила абсолютизм и создала институты, могущие обеспечить правовой строй. Это были, согласно „высочайше утвержденным” 29 сентября 1862 г. „началам”, следующие реформы: а) независимость суда от административной власти; б) открытое и гласное

судопроизводство, ликвидация канцелярской тайны; в) состязательный процесс с участием сторон; г) введение суда присяжных; д) упразднение отдельных „сословных” судов. Целью реформы было, согласно Уставам 20 ноября 1864 г., создать „суд скорый, правый и милостивый, равный для всех”, повысить авторитет судебной власти и укрепить в народе уважение к закону. Судебные реформы дали российским подданным свободу от судебного произвола, взяточничества и волокиты, а также, в результате Уложения 1866 г., свободу от бесчеловечных и жестоких наказаний. Они создали профессионально квалифицированный и заботившийся о сохранении законности триумвират „магистратуры (собственно судей), прокуратуры и адвокатуры”.

Главным звеном новой судебной системы, разработанной под руководством министра юстиции Д. Н. Замятина и статс-секретаря С. И. Зарудного, был окружной суд, в ведении которого было несколько уездов или целая губерния. Он разделялся на гражданское и уголовное отделения. Апелляционной инстанцией для окружных судов нескольких губерний были судебные палаты. Высшей судебной инстанцией в Империи был кассационный департамент Правительствующего *Сената*. Однако он мог отменять приговоры низших инстанций лишь в том случае, если они нарушали правила судопроизводства.

Члены окружных судов и судебных палат назначались министром юстиции из кандидатов, представленных этими учреждениями, были независимы и несменяемы; сенаторы назначались непосредственно императором. При каждом окружном суде и судебной палате имелась своя прокуратура. По уголовным делам перед судьей выступал, с одной стороны, государственный обвинитель — прокурор или

товарищ прокурора, с другой — защитник подсудимого — адвокат, из состава вновь образованного автономного „сословия присяжных поверенных”, в которое входили лишь лица с юридическим образованием. Неимушим подсудимым суд назначал бесплатного защитника. Еще в 1860 г. была учреждена должность особых „судебных следователей”, дабы „отделить от полиции производство следствий по преступлениям, подлежащим рассмотрению судебных мест”. Следователи производили расследование по серьезным уголовным делам и затем передавали дело в окружной суд. Вопрос о виновности подсудимого решался коллегией из 12 *присяжных заседателей*, избравшихся, по жребию, „из местных обывателей всех сословий”. Если присяжные признавали подсудимого виновным (или „виновным, но заслуживающим снисхождения”), то коллегия из трех коронных судей назначала ему установленную законом меру наказания. Гражданские дела рассматривались судьями без участия присяжных, но принимались во внимание заключения экспертов.

Менее важные дела, по уставу 1864 г., разбирали мировые судьи, избравшиеся на три года уездными земскими собраниями. Следующей инстанцией после мирового суда были „сезды мировых судей”, составлявшиеся в каждом уезде из участковых и почетных мировых судей и избравшие из своей среды председателя. Институт мировых судей был упразднен в 1889 г., а с ним — и разделение судебной и административной властей в сельских местностях. Выборных мировых судей сменили назначаемые министром внутренних дел земские начальники. В 1913 г. институт мировых судей был восстановлен.

Между тем, система окружных судов и стоящих над ними инстанций, созданная в 1864 г., продолжа-

ла существовать до конца Империи, хотя и не без последующих ограничений. Так, уже в 1872 г. дела о государственных преступлениях были изъяты из ведения окружных судов и переданы судебным палатам (которые разбирали политические дела без присяжных заседателей, но с участием „сословных представителей”: предводителя дворянства, городского головы и волостного старшины) или, по важным делам, „особому присутствию Сената”. Производство дознаний по политическим делам было поручено офицерам „отдельного корпуса жандармов”, но под надзором прокуратуры. Причиной этих ограничений был рост революционной и террористической деятельности, к которой суды присяжных иногда относились весьма снисходительно.

Убийство инициатора Великих реформ Александра II повлекло за собой дальнейшие ограничения независимости суда и гражданских прав, в виде изданного 14 августа 1881 г. „Временного положения о мерах к охране государственного порядка и общественного спокойствия”. В губерниях и городах, объявленных на положении „усиленной” или „чрезвычайной” охраны, — а таких было большинство — генерал-губернаторам, губернаторам и градоначальникам были предоставлены широкие полномочия. Они могли издавать „обязательные постановления”, касающиеся общественного порядка, и налагать наказания за их нарушение (до трех месяцев ареста). Они могли запрещать общественные или частные собрания, закрывать предприятия и периодические издания, а также (не больше, чем на месяц) учебные заведения. Министр внутренних дел и генерал-губернаторы могли передавать уголовные дела военному суду и требовать закрытого рассмотрения дел, открытое рассмотрение которых могло бы нарушить общественное спокойствие. Начальники по-

лиции и жандармских управлений могли производить обыски у подозрительных лиц без постановления прокурора. В случаях, если жандармская полиция имела сведения о революционной деятельности какого-либо лица, но не имела достаточных улик для предания его суду, дело передавалось на решение „Особого совещания при министре внутренних дел“, состоявшего из двух чиновников этого министерства и двух чиновников Министерства юстиции. Обвиняемый мог быть отдан „под гласный надзор полиции“ или сослан в административном порядке на срок до пяти лет*.

Манифест 17 октября 1905 г. и конституция 23 апреля 1906 г. гарантировали российским подданным неприкосновенность личности и гражданские свободы, но противоречащее им „Временное положение“ 1881 г. так и не было отменено. Правда, в своем циркуляре от 4 декабря 1909 г. Столыпин призывал губернаторов и градоначальников прибегать к нему лишь в самых крайних случаях. На практике, далеко не все постановления „Временного положения“ применялись во время Думской монархии, ибо администраторы считались с духом времени, но „гласный надзор полиции“ и административная ссылка остались.

Таким образом, правовые гарантии реформ 1864 г. и 1905—1906 гг. не распространялись на подозреваемых в политических преступлениях; при этом решение вопроса о том, какие деяния считать политическими, оставалось в руках администрации.

* По данным известного автора „Сибирской ссылки“ Джорджа Кеннана, из общего числа 8 679 ссыльных в Сибирь в 1885 г., лишь 368 человек были сосланы в административном порядке; остальные или были ссыльными по решению суда, по решению крестьянских миров, или „бродяги“.

Свобода совести, слова и печати. Изданный 17 апреля 1905 г. указ о веротерпимости предоставил старообрядческой церкви и религиозным сектам (за исключением таких, как скопцы и духоборы) свободу исповедования и богослужения, и обращение православных в другие вероисповедания перестало быть незаконным. Закон 17 октября 1906 г. дал сектантам право организации религиозных общин. Было наконец окончено начатое в XVII в. преследования старообрядчества. Но, вопреки усилиям Столыпина, не были отменены ограничения „лиц иудейского вероисповедания” в отношении права выбора места жительства и поступления в государственные учебные заведения.

Освободительные процессы в обществе захватили и православную Церковь, где проявилось стремление к реформам церковно-приходской жизни, к освобождению Церкви от светской власти в лице обер-прокурора Святейшего Синода и восстановлению патриаршества. Для подготовки этих реформ было создано Предсоборное присутствие.

Особенно широко в думскую эпоху оппозиционная общественность использовала гарантированное конституцией право *свободы печати*. Законодательством 1905—1906 гг. предварительная цензура книг и периодических изданий была частью вовсе отменена, частью значительно сокращена. В результате книжный рынок был завален перепечатками множества изданий — главным образом по истории революционных движений, — изданных за границей и в XIX в. контрабандой привезенных в Россию. Издавались и переиздавались сочинения Герцена, Лаврова, Плеханова, Бакунина, Кропоткина... И не только русская, прежде нелегальная, литература вышла из подполья. Книжный рынок непрерывно пополнялся изданиями переводов сочинений европейских социа-

листов, синдикалистов, коммунистов и анархистов: трехтомный „Капитал” Карла Маркса в 1907—1909 гг. был издан в трех разных переводах.

Итак, в думскую эпоху можно было издавать книги, содержащие какие угодно „разрушительные” идеи. Недопустимыми и наказуемыми считались только прямые нападки на царя, царскую власть и хула на православную веру и Церковь.

Почти столь же свободной, как и книгопечатание, стала периодическая печать. Как правило, газеты и журналы выходили беспрепятственно, несмотря на то, что большинство периодических изданий было оппозиционного толка.

В 1912 г. в Петербурге под руководством жившего тогда в Австрии Ленина стала легально выходить газета „Правда”. Ее статьи носили открыто революционный характер, и управление по делам печати было бы радо ее закрыть, но не могло, ибо в думской монархии периодическое издание могло быть закрыто только по приговору суда. Управление обратилось в суд, прокурор представил суду многочисленные и несомненные доказательства незаконного характера статей „Правды” и суд принял решение о закрытии газеты. Но через два дня вышла газета „Рабочая Правда” того же формата и содержания (причем слово „Правда” было набрано более крупным шрифтом, чем новое слово „Рабочая”). Через два-три месяца вся процедура повторилась и потом повторялась многократно. Вместо „Правды” выходили, одна за другой, „Пролетарская Правда”, „Трудовая Правда”, „Северная Правда”, „Голос Правды” и т. д. Когда началась война, „Правда”, следуя директивам Ленина, сразу заняла пораженческую позицию и лишь тогда она была „всерьез” закрыта военными властями.

Конституция 23 апреля 1906 г. предоставляла российским подданным *свободу собраний и союзов*. Однако публичные собрания политического характера (главным образом предвыборные собрания) должны были, согласно „временным правилам” 4 марта 1906 г., происходить с ведома полиции и полицейский чиновник мог их закрыть, если в речах ораторов содержались призывы к насильственным действиям.

Под словом „союзы” понимались все общественные организации, включая политические партии. Они должны были регистрироваться в соответствующем административном „присутствии”, куда, согласно „временным правилам”, должны были представить свою программу и устав. Конечно, левые партии социалистов-революционеров и социал-демократов меньшевиков и большевиков, в программах которых содержался призыв к насильственному ниспровержению монархии, не могли быть зарегистрированы; они считались „преступными сообществами”, за принадлежность к которым виновным угрожала ссылка в Сибирь, но их нелегальные организации были рассеяны по всей России.

Лево-либеральной конституционно-демократической партии было отказано в регистрации, но фактически она существовала и действовала совершенно свободно, хотя ее центральный орган — петербургская газета „Речь” — непрерывно и иногда очень резко критиковал правительство.

В аналогичном положении находилась и новая партия „народных социалистов”, более „правая”, чем социалисты-революционеры и отказавшаяся от тактики вооруженного восстания и индивидуального террора. Легальные народники группировались вокруг журнала „Русское Богатство”.

Правительственной партией в Третьей Думе был „Союз 17-го октября”. Этим названием „октябристы” подчеркивали, что они готовы удовлетвориться проведением в жизнь реформ, провозглашенных манифестом 17 октября 1905 г. Руководителями Союза были умеренно-либеральные земские деятели и деятели торгово-промышленного мира, главным образом москвичи.

Левее октябристов были две небольшие либеральные партии: Партия мирного обновления и Партия демократических реформ. Обе в Думе входили в блок „прогрессистов”.

На крайне правом фланге стояли партии „Союз русского народа” и „Союз архангела Михаила”, ратовавшие за сохранение „исконного русского” самодержавия и рассматривавшие Думу как чисто совещательный орган. В Третьей и Четвертой Думе правые депутаты образовали три особых фракции: „правые”, „умеренно-правые” и „националисты”.

Помимо политических партий, законодательство 1906 г. также легализировало организацию рабочих профсоюзов, хотя им и не было дано права на забастовки. По данным „Профессионального Вестника” — официального органа профсоюзного движения, — в начале 1907 г. во всей Империи было 652 профсоюза с 245 тыс. членов. Профессиональный союз печатников охватывал около 43% рабочих этой отрасли. В последующие годы профсоюзное движение развивалось и число его членов возрастало.

Вслед за рабочими начали организовываться и предприниматели. В апреле 1906 г. был создан Съезд представителей торговли и промышленности, объединявший во всероссийском масштабе организации различных отраслей промышленности. Наряду с бурным ростом кооперативного движения, о котором речь шла выше, увеличивалось и число

всевозможных общественных организаций — научных, культурных, просветительных, благотворительных; зарождались молодежные организации и спортивные общества.

Конституция 1906 г. также предоставила российским подданным *свободу выбора места жительства и выезда за границу*. Поездки за границу были легкодоступны для всех, — в том числе и для людей с очень скромным доходом. Для „оформления” заграничного паспорта достаточно было подать в канцелярию местного губернатора прошение, русский паспорт и 10 руб. (розничная цена 10 кг масла.) Через два дня вы получали заграничный паспорт (на французском языке) и могли ехать с ним куда угодно. Виза состояла в том, что немецкий жандарм на границе прикладывал к вашему паспорту штемпель с указанием даты переезда.

А для миллионов людей, переезжающих границу, не требовался и заграничный паспорт, а было достаточно свидетельства местных властей о разрешении на переезд в Германию или Австрию на определенное время. На северо-западной границе — в Белоруссии и Литве — множество малоземельных крестьян каждое лето уезжали на заработки в Пруссию, где работали в качестве сельскохозяйственных рабочих в имениях прусского дворянства. На южной границе торговцы часто ездили в Австрию по коммерческим делам.

По данным железнодорожной статистики, в 1913 г. переехали прусскую западную границу (очевидно, туда и обратно) около 9 млн. человек, из них 463 тыс. с заграничными паспортами, около 850 тыс. с кратковременными паспортами (главным образом по торговым делам) и 7 641 тыс. с восьмимесячными свидетельствами (в основном, сельскохозяйственные рабочие).

Кроме эмиграции легальной, существовала и нелегальная. Была одна категория граждан, которым губернатор не мог выдать заграничный паспорт, — мужчины призывного возраста. Уклонявшиеся от воинской повинности нередко бежали за границу. Это было нетрудно. Колючей проволоки на границе не было, а сторожевые посты были довольно далеко один от другого. Бегство военнообязанных особенно усилилось в 1912—1913 годы, и в США жило немало эмигрантов, „выехавших” таким образом, — в основном, из Белоруссии.

Сколь легко было российскому подданному в это время уехать (или уйти) за границу, столь же легко было иностранцам посетить Россию: так, в 1913 г. западную границу России пересекло 3,5 млн. иностранцев.

Образование и культура. Благодаря усилиям Думы и земства, в думский период быстро росли, как уже упоминалось выше, расходы на народное образование. Были основаны три новых университета — в Саратове (1909), Перми (1915) и в Ростове-на-Дону (1915). Помимо этих правительственных („императорских”) университетов, в Москве в 1908 г. открылся городской университет им. Шанявского. Было основано и несколько специальных высших учебных заведений.

Одновременно с увеличением численности происходило и изменение социального состава студентов. В 1914 г. среди студентов университетов было 15% выходцев из крестьянского сословия, а в технических высших учебных заведениях их было уже 22,5%. Много было студентов и из других малостоятельных классов; плата за обучение была невысока, и, кроме того, многие студенты получали стипендию от земств, различных учреждений и частных лиц.

Были достигнуты успехи и в области среднего образования. Открывались новые гимназии и реальные училища, „прогимназии” были преобразованы в полные гимназии. К двум прежним „разрядам” средней школы присоединился третий — коммерческие училища.

Но особенно быстро и успешно развивалось в думскую эпоху начальное образование. Больше половины сельских детей школьного возраста уже посещало школы, и предполагалось, что к 1922 г. начальное образование станет всеобщим.

Здесь нет ни возможности, ни надобности описывать всесторонний расцвет русской культуры в думскую эпоху, но следует лишь напомнить, что русская культура в это время, не будучи стесняема какими бы то ни было ограничениями, развивалась в тесном взаимодействии с культурой европейского Запада и была, по сути, его органической частью*.

Русские ученые, писатели и деятели искусства постоянно ездили в Европу и порою оставались там на долгое время. Состоятельные люди уезжали в Европу на отдых. Много русских студентов обучалось в европейских университетах. С другой стороны, сотни тысяч иностранцев приезжали в Россию либо на временное жительство, либо находили работу и оставались в стране навсегда. Они не испытывали не только никаких придирок и притеснений со стороны полиции, но и ни малейшей враждебности со стороны населения.

* См. статью С. П у ш к а р е в а „Russia and the West. Ideological and Personal Contacts before 1917”. — The Russian Review, April 1965, а также книги английских авторов: D. M. W a l l a c e, Russia. 3d ed., London, 1912; Stephen G r a h a m, Undiscovered Russia, London, 1912; H. W. W i l l i a m s, Russia and the Russians, New York, 1914; Bernard P a r e s, My Russian Memoirs. London, 1913.

Всякое сколько-нибудь значительное произведение научной литературы и бесчисленное множество художественных произведений, написанных в Европе и Америке, быстро переводилось на русский язык и находило широкий спрос и сбыт на русском книжном рынке.

Социальный строй. В думскую эпоху стал постепенно исчезать тот социально-культурный разрыв между народом и интеллигенцией, который возник после реформ Петра Великого и в течение двух столетий был главным социальным злом русской жизни. „Народ”, т. е. крестьянство, смотрел на дворянство, чиновничество и интеллигенцию почти как на иностранцев, или, во всяком случае, как на „начальство”. Разрыв этот был не только бытовым и психологическим, но и юридическим.

Реформа 19 февраля 1861 г. не дала крестьянам полного освобождения. Каждый крестьянин был „приписан” к своему сельскому обществу и не мог надолго отлучиться без паспорта, выданного волостным правлением. Если же он хотел поступить на постоянную службу в земство или на частное предприятие, либо, например, самостоятельно заняться торговлей, то он должен был получить от „мира” увольнительное свидетельство.

По стольпинскому Указу 5 октября 1906 г., об уравнении крестьян в правах с лицами других сословий, крестьяне получили право менять место жительства, поступать в учебные заведения или на городскую, земскую или частную службу, не спрашивая разрешения „мира” и не теряя прав на свой земельный надел. Предоставляя крестьянам общегражданские права, закон также ограничивал власть земских начальников: они не могли наказывать крестьян без судебного разбирательства или, если

не было явного нарушения закона, отменять приговоры крестьянского мира.

Указ о предоставлении крестьянам-домохозяевам права требовать закрепления принадлежащих им участков общинной земли в личную собственность последовал 9 ноября 1906 г. Несмотря на жестокую оппозицию справа и слева, соответствующий закон прошел через Государственную Думу и вступил в силу 14 июня 1910 г. Затем 29 мая 1911 г. последовало Положение, регулирующее работу землеустроительных комиссий, состоявших из представителей правительства, земства и крестьян.

Аграрное законодательство Столыпина встретило живой отклик и, очевидно, отвечало назревшим потребностям. Из 10 млн. крестьян-домохозяев, около 2,7 млн. заявили о желании закрепить свои наделы в собственность, и около 2 млн. таких закреплений состоялось. Кроме того в общинах, где давно не было переделов, 0,5 млн. домохозяев получили свои наделы в собственность автоматически. Часть крестьян получила эквивалент тех „полос“, которые они обрабатывали, в одном участке земли („отруба“) и осталась жить в селе, часть перенесла свои усадьбы на закрепленные за ними участки и образовала „хутора“ (их в шутку называли столыпинскими помещиками); часть, наконец, продала свои участки и ушла в город. Помимо 140 млн. десятин общинной земли, из которой около 17 млн. было выделено в частную собственность к 1915 г., крестьяне владели более чем 30 млн. десятин частновладельческих земель, выкупленных у помещиков, — нередко с помощью Крестьянского банка. В руках помещиков к этому времени осталось около 40 млн. десятин, а около 25 млн. десятин принадлежало купцам, мещанам и промышленным предприятиям (в частности, свеклосахарным заводам).

Крестьяне-собственники вели на своих участках культурное хозяйство, применяя удобрения и сельскохозяйственные машины, которые они покупали с платежом в рассрочку на земских складах. Это значительно повысило урожайность полей и улучшило снабжение городских рынков. Активно участвовали крестьяне и в кооперативном движении, а крестьянские дети учились не только в начальных школах, но и поступали в средние и высшие учебные заведения. Если по переписи 1897 г. в России было грамотным 21% населения, то к 1914 г., по приблизительному подсчету, доля грамотных достигла 43,5%.

Образованная крестьянская молодежь поступала на службу в учреждения земского и городского самоуправления, а также на государственную службу, пополняя, в частности, ряды той семитысячной армии землемеров Главного Управления землеустройства и земледелия, которая должна была распутать царившую в русской деревне вековую путаницу земельных отношений. Широкое поле для деятельности этой молодежи представляла быстро развивающаяся кредитная и сельскохозяйственная кооперации. Часть уходила на службу в частные торговые, промышленные и финансовые предприятия. Если в 70-х годах XIX века революционная интеллигенция шла „в народ” для проповеди социализма и анархизма, то в думскую эпоху образованная и деловитая крестьянская молодежь вступала в ряды интеллигенции для созидательной работы.

Развитие сельского хозяйства способствовало быстрому росту городов, а также промышленному подъему 1909—1913 гг. Производство стали и угля за это пятилетие увеличивалось на 6—7% ежегодно, опережая западные страны, хотя его абсолютный уровень и был во много раз ниже западного. Подоб-

ными же темпами росли и экспорт товаров за границу, и число акционерных обществ, и вклады в сберегательные кассы. Последнее, в частности, свидетельствовало о повышении жизненного уровня населения с традиционно скромным достатком. Заметно увеличилось потребление — на душу населения — сельскохозяйственных продуктов (особенно сахара), хлопчатобумажных тканей, резиновой обуви и другой мануфактуры.

Законы о страховании рабочих от 23 июня 1912 г. обеспечили промышленным рабочим бесплатную медицинскую помощь за счет владельцев предприятий, а также пособия больничных касс по случаю болезни, увечья, родов или смерти. Средства касс состояли на треть из взносов рабочих и на две трети из средств предпринимателей. Обе стороны были представлены в правлениях касс.

Несмотря на многочисленные ограничения и противоречия, жизнь населения России в думскую эпоху стала несравненно свободнее. За этот короткий период весьма широкой свободы культурная отсталость народной массы не могла быть изжита, но она быстро преодолевалась. Не могла быть полностью преодолена и экономическая отсталость страны, но и здесь успехи были очевидны. Война и революция оборвали эту линию восходящего развития.

Мемуары

Из главы 3. В МОСКВУ И ОБРАТНО

После окончания областной партийной школы многие из моих друзей уехали в Москву и поступили в Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ) им. Сталина, а я решил закончить среднее образование и поступил на Грозненский рабфак. Я учился еще на втором курсе, когда неожиданное знакомство с инструктором ЦК Сорокиным сорвало все мои дальнейшие планы. Он разъезжал по национальным областям Северного Кавказа по заданию ЦК, вербуя коммунистов из местных национальных кадров в КУТВ и на подготовительное отделение Института красной профессуры (ИКП). По рекомендации Мутенина, он вызвал меня в Чеченское Оргбюро партии на беседу. Я и представления не имел ни о нем, ни о его миссии. Встретил он меня с подкупающей простотой, которая сразу располагает к искренности. Не сказав ничего по существу вызова, он спросил меня:

— Что ты читал по марксизму?

Я перечислил некоторые книги: „Экономичес-

Из одноименной книги, выходящей в издательстве „Посев”.

кое учение Маркса” Карла Каутского, „Происхождение семьи, частной собственности и государства” Энгельса, „Монистический взгляд на историю” Плеханова, „Теория исторического материализма” Бухарина, а также брошюры Сталина, Зиновьева и Троцкого о Ленине и ленинизме. Из последних трех брошюр работа Сталина „Об основах ленинизма” пользовалась наибольшей популярностью среди молодых коммунистов, как нечто вроде „катехизиса” ленинизма. Впоследствии мне стало ясно и другое ее достоинство: в ней давалось сжатое изложение синтеза идей мастера революции — Ленина с идеями мастера власти — будущего Сталина.

Сорокин перешел к делу. Он сообщил мне, что ЦК создал при Институте красной профессуры двухгодичное подготовительное отделение, которое дает слушателям полное среднее образование и политические знания в объеме комвуза. „Нацмены” туда принимаются при малых мандатных и академических требованиях. Окончившие его зачисляются на первый курс соответствующего факультета ИКП. Основная задача ИКП — подготовка высших теоретических кадров партии и профессоров общественных наук для университетов и институтов. Он сообщил мне также, что Чечоргбюро партии рекомендует ЦК мою кандидатуру на это отделение.

Предложение это меня и озадачило и испугало. ИКП был мечтой, вершиной стремлений молодых партийцев, решивших делать карьеру в области общественных наук — истории, философии, литературоведения, экономики... Чтобы быть принятым на подготовительное отделение, надо было иметь гораздо большее знакомство с марксистской литературой, чем у меня, к тому же держать конкурсный экзамен, а в то, что я его выдержу, я совершенно не верил.

Сорокин не разделял моих сомнений; что же касается экзаменов, то тут, сказал он, для „нацменов” существуют определенные „скидки” (эти „скидки” меня всегда оскорбляли, хотя по слабости человеческой природы я от них и не отказывался).

Аргументы Сорокина меня не убедили, и я боялся, что никакие „скидки” не спасут, если другие „нацмены” окажутся лучше подготовленными, чем я. С тех пор как я начал учиться, еще в медресе, у меня появился какой-то болезненный комплекс — чувство, что нет в жизни большего позора для учащегося, как провалиться на экзаменах. Я искренне завидовал хладнокровию моих товарищей, для которых провал на экзаменах был, как говорится, что с гуся вода. Когда Сорокин увидел, с каким незаурядным паникером имеет дело, он выложил свои последние два аргумента: во-первых, я упускаю редкую возможность попасть в ИКП, а во-вторых, он ручается за мой успех перед экзаменационной комиссией ИКП, ибо он в ней представитель от ЦК.

Последний аргумент показался мне более убедительным. Так-таки уговорил меня Сорокин. Я дал согласие, хотя далекий незнакомый мир пугал и отталкивал. Чеченцы фанатично привязаны к своей земле. Нет для них большего наказания, как оторвать их от нее. Я не был исключением. Но Сорокин разбудил во мне другое чувство — любопытство или, скорее, любознательность, глубоко сидевшую в подсознании: посмотреть и послушать в Москве самих вождей Октябрьской революции. Сорокин рассказывал, что Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Луначарский, Сталин часто посещают ИКП и читают лекции на самые различные темы советской и мировой политики. Советская доктрина „культы вождей” кажется смешной и даже наивной, когда не

вникаешь в суть дела. Она целенаправлена и рассчитана на то, чтобы путем непрерывной долбежки вкоренить в подсознание людей представление, даже убеждение, что нищезанятая теория о будущем „сверхчеловеке” есть была советской революции: Ленин, Троцкий, Бухарин, Сталин — все они сверхлюди... Кто же не хочет полюбоваться сверхлюдьми?! „Культы” Ленина и Троцкого были спонтанными, а остальные — „долбежными”. Власть знала, что предрассудок, ставший мистической силой, может сдвигать горы. Ведь знал же Камиль Демулен: „Великие мира сего только потому кажутся людям великими, что они созерцают их, стоя на коленях”. Вот так, „стоя на коленях”, я поехал в Москву послушать и посмотреть „великих мира сего” — наших вождей.

Путешествие от Грозного до Москвы продолжалось трое суток. Но поездка эта не была ни скучной, ни утомительной. Она была полна контрастных наблюдений, интересных встреч, иногда и приключений. С питанием проблем тоже не было: в великолепном вагоне-ресторане выбор блюд был богатый и разнообразный — от зернистой икры до шашлыка, — цены были умеренные, ибо ценность советских денег тогда была очень высока (в любом госбанке советский червонец вы могли поменять на золотую десятку). Русские вагоны, рассчитанные на дальние расстояния, удобны для сна. Влезешь на верхнюю полку, мерный стук колес о рельсы тебя убаюкивает пуще всякой „колыбельной песни”, и ты всю ночь напролет дрыхнешь себе на здоровье. Когда подъезжаешь к Москве, все меняется, меняются даже люди: одни делаются оживленными и веселыми, предвкушая приятные встречи, другие, вроде меня, — угрюмыми и задумчивыми, не зная, что их ожидает. Меняется и сама природа за окном:

леса, леса, высокие, стройные, густые, даже не знаешь, как сюда мог добраться на своей походной тележке основоположник Москвы, сын Мономаха — князь Юрий Долгорукий. Потом идут такие же высокие и стройные заводские трубы. Началась Москва.

Когда я стараюсь образно представить себе день моего приезда в Москву, мне на память приходят стихи великого поэта:

„Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу; приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора”.

Правда, стоял не ноябрь, а октябрь, но какой-то пасмурный, необычно холодный, не такой гостеприимный, каким я оставил наш кавказский солнечный октябрь всего три дня назад.

Прямо с вокзала я поехал на извозчике в ГУМ, где находилось представительство „автономной” Чечни при президиуме ВЦИК РСФСР. Оттуда меня направили на временное жительство в первый Дом советов. На второй день я поехал в ЦК и встретился с Сорокиным. На меня, для которого еще вчера весь мир укладывался в пространство между моим аулом и городом Грозным, Москва произвела потрясающее впечатление. Вспомнилось, как чеченцы иронизировали над ингушами, у которых самая важная клятва якобы гласит: „Клянусь Аллахом,

который сотворил два чуда — город Владикавказ и пистолет маузер!” Я был теперь готов поклясться всеми богами, что гениальный монах из средневекового Пскова оказался пророком: „Москва — третий Рим”, „Два Рима были, третий стоит, а четвертому не бывать!”. Все здесь величаво и удивительно: высокие дома, величественные соборы (собор Христа Спасителя еще не был снесен), Большой театр, Кремль, Царь-колокол, Царь-пушка, Сухареvский рынок, Охотный ряд, целый „интернационал народов”, среди которых есть и люди чернее сажи — негры, которых я видел впервые в жизни.

Первый визит я сделал, как и полагается правоверному коммунисту, Ленину в его мавзолее. Долго стоял в очереди (кстати, это была в то время единственная очередь в Москве — страна жила еще при, увы, последнем годе нэпа, продуктами и вещами были набиты не только частные рынки и магазины, но и ГУМ). Когда, несмотря на протесты жены Ленина Н. Крупской и Троцкого против превращения революционера в марксистского бога, Сталин решил забальзамировать, как фараона, труп Ленина и положить его в мавзолей на поклонение фанатиков и как зрелище для любопытствующих зевак, он действовал как великий эксплуататор чужой славы в личных целях. Ведь на самом деле мстительный Сталин должен был больше ненавидеть Ленина за его письма против него („Завещание”, письма о разрыве личных отношений из-за оскорбления Сталиным Крупской, статья об „автономизации”), чем его ненавидела вся русская и мировая буржуазия за октябрьский переворот. Тем не менее Сталин решил превратить Ленина в марксистского божка, чтобы себя объявить его верховным жрецом. Ленин лежал в стеклянном гробу, лицо какое-то восковое, рыжая борода, на лацкане пид-

жака значок „ЦИК СССР“, кажется, еще орден Красного знамени. Великий в партийных легендах, он не показался мне велик ростом, и это как-то не гармонировало с представлением, созданным легендами о его физическом и умственном величии. И за какие-нибудь секунды, в продолжение которых вы проходите около него, в воображении встают те знаменитые „Десять дней, которые потрясли мир“, религиозные клятвы Сталина в верности Ленину у его гроба („Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним и эту твою заповедь“), предупреждение Троцкого — не лезть в Ленины, а стать ленинцем („Лениным никто не может быть, но ленинцем может быть каждый“), рассказы о слезах Зиновьева, Каменева, Бухарина на похоронах Ленина... Обидно, жутко, что и великие люди тоже смертны... „О, небо, неправ твой святой приговор!“

Скоро на горьком опыте я убедился, что, насколько всем доступен был мертвый бог, настолько же недоступны оказались боги живые. Когда я уже был принят на первый курс подготовительного отделения ИКП, в списке лекторов я заметил только вождей второго ранга, вроде Покровского, Ярославского, Луначарского, но ни Троцкого, ни Зиновьева, ни даже Радека там не было. Правда, был неизменный Бухарин. Я не замедлил сообщить об этом открытии Сорокину.

— Как я много дал бы, чтобы увидеть живого Троцкого, — вырвалось у меня.

— Ты его увидишь совершенно бесплатно на этих же днях, — заверил меня Сорокин.

Сорокин объяснил, что Троцкий и его сторонники боятся заглядывать в ИКП — так как все его слушатели стоят за ЦК, — но они выступают в других вузах Москвы. Он обещал меня взять на одно такое собрание. Но это оказалось далеко не легким

делом. Троцкий всегда появлялся неожиданно, без объявления, когда же он появлялся, то его люди из „лейб-гвардии” закрывали вход для „холуев фракции Сталина”. Так нас не пустили на собрание в МВТУ, где выступали Троцкий и Каменев. Велико было мое разочарование, хоть тут же выйди из „холуев” и запишись в троцкисты. Сорокин это заметил и был крайне удивлен этим моим прямо-таки ребяческим любопытством. Он даже был озадачен, как молодой коммунист, который так увлечен Троцким, может голосовать за Сталина. Сорокин сам же объяснил это противоречие: ведь в музей идут лицезреть экспонат ихтиозавра не из увлечения, а из любопытства... Троцкий — ихтиозавр нашей революции.

И все-таки на другой день Сорокин сжалился надо мной. Он придумал для меня кратчайший путь к Троцкому. Объяснив мне, что Троцкий очень любит, когда у него просят автографы на его книгах, Сорокин предложил мне поехать к нему в Главконцесском при Совнаркоме СССР и тут же подарил мне книгу Троцкого „Литература и революция”.

По данному Сорокиным адресу я и поехал. Главконцесском при СНК СССР находился на Малой Дмитровке, в маленьком дворе, в двухэтажном особняке. Он не охранялся, по крайней мере, внешне. Несмотря на совет Сорокина прямо пойти в приемную Троцкого, я все-таки не набрался такой смелости, а решил подкараулить Троцкого у ворот. Ожидание оказалось безуспешным. Я повторил то же самое на второй день, но теперь меня самого подкараулил злой сюрприз: быстро подъехала черная открытая машина, вылезшие оттуда два человека в военной форме обшарили мои карманы и грубо толкнули меня в машину. Пока я успел опомниться, машина помчалась дальше. По обе стороны

меня сидели два здоровенных дяди, один внешний вид которых внушал полное доверие к силе их все еще неведомого мне учреждения. Через несколько минут меня привезли на большую площадь и ввели в большое здание, потом на часа два закрыли в темной комнате, наконец привели в кабинет на втором этаже. В кабинете было несколько человек. Один из тех, кто сидел за столом, встал, быстро подошел ко мне и в упор задал вопрос:

— Почему ты хотел зарезать Троцкого?

Я от неожиданности онемел и, вероятно, страшно побледнел, и уж одно это должно было доказать чекистам, что я не способен „зарезать” Троцкого.

Но чекист не унимался:

— Мы все знаем, выкладывай быстро, а то сгниешь у нас в подвале и на прощание еще получишь пулю в затылок!

Это все производило впечатление: я уже достаточно наслышался об ужасах в подвалах Чека.

Перебивая друг друга, крича во все горло, в допрос включились и его коллеги:

— Кто твои сообщники?

— Куда спрятал пистолет?

— Где твоя бомба?

Весь этот допрос состоял из криков и угроз и продолжался несколько часов.

Едва ли было проявлением слабодушия то, что я, ошеломленный и убитый происходящим, да и самим диким обвинением, даже не пытался ни отвечать на вопросы, ни оправдываться. Вероятно, я вел себя так, как пойманный с поличным неопытный преступник. Мои следователи, определенно, так и думали.

Когда следователи обратились к „вещественным доказательствам”, только тогда я понял, почему и

чем я хотел „зарезать” Троцкого: на стол положили отобранную у меня при аресте финку. Я ее купил на Сухаревке для самозащиты, так как начитался в вечерней газете сообщений о всякого рода хулиганских и бандитских нападениях ночью на московских улицах.

Поздно вечером меня бросили в какой-то каменный мешок с тусклым электрическим светом. На цементном полу валялся соломенный матрас; в углу стояла какая-то бочка, которая, как я узнал потом, называлась „парашей”; рядом какая-то глиняная чашка, которая называлась „миской”, а то, что в ней дают кушать — „бурдой”. Вечером я получил эту бурду и кусок хлеба. Разумеется, я до еды не дотронулся и матрасом не воспользовался: всю ночь, ни разу не сомкнув глаз, я шагал по камере, как тигр в клетке, но походил я не на тигра, а на жалкого щенка, которому грубо наступили на хвост. Только теперь, в камере, я понял всю трагичность своего положения и нелепость своего поведения. Я должен был перекричать своих следователей, объявить их жандармскими держимордами и потребовать немедленно связать меня с чеченским представительством при ВЦИК. Я вел себя как болван и тем укрепил этих насильников в их заблуждении, что они поймали „террориста”.

Зато на второй день, когда меня повели на новый допрос, я взял „реванш”: чекисты удивленно переглядывались и не узнавали во мне вчерашнего безмолвного, близкого к раскаянию „убийцу”, когда я на их глазах за одни сутки вырос в нового Демосфена. Я начал с цитаты из Дзержинского, которая красовалась на плакате в кабинете следователя: „У чекиста должны быть холодный разум, горячее сердце и чистые руки!” Если чекисты должны быть такими, то те, кто меня вчера арестовал, — не чекис-

ты, а насильники. Я требую связать меня с чеченским представителем при ВЦИК Арсановым и инструктором ЦК Сорокиным. Впрочем, мое „красноречие” не произвело на них особенного впечатления. Только один сухо заметил: „Ну и арап же!”

Последовал допрос, который на этот раз происходил без выкриков и угроз, хотя и допрашивали о том же: „почему хотел убить Троцкого?” Все мои ответы заносились в протокол. Вторая часть допроса была посвящена выяснению моей личности. Я добросовестно изложил несложную биографию пионера, комсомольца и молодого коммуниста, который никак не мог быть убийцей „вождя Октябрьской революции”. Этот мой „аргумент” вызвал раздражение: „Он такой же вождь, как я китайский богдыхан”, — сказал один из следователей. Вопреки ожиданию, и биография моя тоже не произвела на них никакого впечатления. Гораздо позже я узнал, что в этом учреждении принцип презумпции невиновности был запретным понятием юриспруденции.

В связи с этим вспоминаю одну из интересных лекций прокурора СССР Вышинского накануне ежовщины на курсах марксизма при ЦК. Лекция была на тему советского уголовно-процессуального права. Вышинский доказывал, почему соответствующая статья УПК о необходимости выяснения в одинаковой мере вины и невиновности подсудимого не распространяется на обвиняемых в политических преступлениях против советского режима. Дело в том, говорил лектор, что следователи в органах НКВД (КГБ) еще до ареста обвиняемого устанавливают его виновность, а потому органы НКВД никогда не ошибаются в своих карательных действиях. Поэтому сам формальный следственный процесс в кабинете следователя есть по существу судотворческий процесс, который окончательно

оформляется в обвинительном заключении. В этом следственно-судебном процессе так называемые вещественные доказательства играют подчиненную, а личные признания решающую роль, что же касается суда, то это — простая формальность, чтобы соблюсти декорум. На этой доктрине Вышинского и были основаны физические пытки подследственных во время допросов, чтобы заставить их подписывать вымышленные „признания” о несодеянных преступлениях, а практическая система пыток, названных коротко „методами” „органов”, была разработана двумя „звездами” ГПУ — Курским и Федотовым — во время „Шахтинского дела”, о чем я подробно рассказывал в „Технологии власти”.

На другой день меня увезли из внутренней тюрьмы ГПУ во внешнюю тюрьму — в Бутырки. Бутырская тюрьма была знаменита тем, что через нее прошла вся элита русских бунтовщиков — от мятежных стрельцов при Петре I, Пугачева и пугачевцев при Екатерине II, польских повстанцев при Александре II, народовольцев при Александре III и до большевиков, меньшевиков и эсеров при Николае II. Сидел здесь и сам организатор Чека Дзержинский перед отправкой на каторгу. Упорная молва, пущенная в ход самими чекистами, утверждала, что здесь в библиотеке тюрьмы работает и эсерка Фаина Каплан, стрелявшая в Ленина в 1918 году. Ленин, по мотивам гуманности, якобы запретил ее расстреливать, и поэтому Президиум ВЦИК заменил расстрел заключением в тюрьму. До чего правдоподобным этот слух казался даже в высших идеологических кругах партии, показывает задание, которое дал мне в 1936 г. наш профессор Н. Н. Ванаг — поработать в архиве Истпарта за 1918 г., чтобы установить судьбу Ф. Каплан. Я нашел в деле „Покушение на В. И. Ленина” краткую

биографическую справку с приложением выписки из протокола коллегии ВЧК о суде над „левой эсеркой Ф. Каплан”. В справке лаконично сообщалось, что ее в августе 1918 г. судила коллегия ВЧК, приговорила к расстрелу, и приговор приведен в исполнение. Мне запретили делать выписки и ссылаться на сами документы, ибо следственно-судебное дело покушения на Ленина считалось все еще секретным — и это в 1936 г.! — иначе рушилась вся красивая легенда о „гуманизме” Ленина. Только в 1959 г., при Хрущеве, власть осмелилась нанести удар собственной версии о „гуманизме” Ленина, когда бывший комендант Кремля П. Д. Мальков в „Записках коменданта Московского Кремля” сообщил, что он сам лично привел в исполнение приговор о расстреле Ф. Каплан. Но и здесь не обошлось без лжи. Партаппарат вложил в уста Малькова утверждение, которому может поверить только обыватель, не знающий механизма чекистской власти и функций коменданта Кремля. До самого переворота Сталина обязанности коменданта Кремля были скромные — охрана правительственных зданий и самих правителей на территории Кремля — Кремль был открытым тогда, — а также функции „завхоза”, то есть административно-хозяйственное управление Кремля и надзор за персоналом, его обслуживающим.

Убивать — это всегда было и оставалось привилегией и монополией заплечных дел мастеров из чекистских подвалов, которые они ревниво сохраняли за собой. Так что Мальков, по чьему-то велению, присвоил себе чужую славу. В 1937 г. сам Мальков (член большевистской партии с 1904 г., командир знаменитого отряда матросов, штурмовавших 25 октября 1917 г. Зимний дворец), очутившись в том же подвале на Лубянке, в котором расстреляли

Ф. Каплан, каждую ночь ожидал той же участи. Ему, однако, „повезло”: Сталин его оставил в живых по той единственной причине, что он был не политик, а самый обыкновенный „винтик” — службист, но уже достаточно изношенный, чтобы на него можно было надеяться. Поэтому, пробыв некоторое время на Лубянке и в Бутырках, он попал в один из политизоляторов в Сибири, где просидел 17 лет. Его освободили только в 1954 г., через год после смерти Сталина, а в утешение Хрущев нацепил ему еще орден Ленина.

Вот с этой исторической достопримечательностью Москвы — Бутырками, в которой изменилось лишь то, что одни надзиратели сменили других, я познакомился не из собственного любопытства, а по воле новых надзирателей. Но знакомство это оставило по себе неизгладимое впечатление. Здесь я очутился в том мозаичном старом мире, который далеким метеором пролетел через мое детское сознание, оставив лишь яркий блеск, но без близкого знакомства с ним. Я, дитя окраины Империи, о старом мире знал только то, что вычитал из писаний вождей нового советского мира. Теперь, в большой следственной камере Бутырок, история как бы вернулась к исходной позиции — к 1917 г., — и я оказался в самой гуще старого мира: в камере сидели почти все его представители — бывшие офицеры, лица духовного сословия, старые профессора, монархисты, кадеты, меньшевики, эсеры, контрабандисты, даже террористы.

Разумеется, я чувствовал себя здесь сначала не очень уютно и с кем-либо в разговоры не вступал. Позже, приглядевшись поближе к представителям „старого мира”, прислушавшись к их бесконечным дискуссиям о политике и революции, я понял, что, еще не добравшись до красной профессуры, я ока-

зался слушателем „Института белой профессуры”. Внутренне „старый мир” остался верен тем политическим традициям, воспользовавшись которыми большевики и загубили его: прямо-таки болезненной страсти взаиморазоблачения.

По вечерам до поздней ночи камера дискутировала один и тот же вопрос: „Кто виновен в гибели России?” Монархисты находили, что все началось с измены офицерского корпуса (царь записал в дневнике, накануне отречения, что „кругом измена”), а из генералитета до конца верными ему остались только три генерала, и то нерусского происхождения (немец — генерал Келлер, армянин — генерал Хан Нахчиванский и чеченец — генерал-от-артиллерии Эрисхан Алиев). Офицеры доказывали, что могилу монархии вырыл пройдоха Распутин; меньшевики уверяли, что без партии эсеров большевики никогда бы не пришли к власти; а один левый эсер, который вместе с другими левыми эсерами входил в состав Совнаркома до заключения Брестского сепаратного мира с Германией, читал весьма интересную лекцию „Как меньшевики привели к власти большевиков?”. Однако самый нравоучительный „синтез” из истории русских социалистических партий сделал ученик Ключевского, кадетский профессор, сравнив три партии — большевиков, меньшевиков и эсеров — с теми бешеными конями гоголевской тройки, на которой Ленин, захватив с собой Россию, помчался в бездну истории. Ирония той же истории: в 30-х годах этот же историк, Сергей Владимирович Бахрушин, меня учил в красной профессуре „марксистско-ленинскому” пониманию исторического процесса в русском средневековье.

В этих дискуссиях меня поразила и другая сторона дела: оппоненты, непримиримые и беспощадные по существу споров, по форме оставались сдержан-

ными, даже вежливыми, — это так контрастировало с дискуссиями на большевистских собраниях. В личных обращениях часто слышались и титулы, которые тогда мне ни о чем не говорили: „Ваше превосходительство“, „Ваше сиятельство“, „Ваше высокопреосвященство“, а меньшевики и эсеры их называли „господами“, а самих себя „товарищами“. Духовные лица в дискуссиях не участвовали, но слушали внимательно. Среди них выделялся один, к которому часто обращались сокамерники по богословским и философским вопросам: архиепископ, кажется, из Пскова или Новгорода. Он приехал в Москву жаловаться на банду, которая ограбила местный собор, забрав из него все драгоценности и древнерусские иконы. Местные власти отказались вести следствие, когда выяснилось, что банда — это переодетые чекисты. Архиепископ приехал к самому „Всероссийскому старосте“ Михаилу Калинин с целой папкой свидетельских показаний об ограблении его собора чекистами. Калинин попросил у него папку для выяснения дела, а ночью в монастырь, в котором он остановился, пришли чекисты и арестовали его. И дело ограбления собора чекисты повернули против самого архиепископа: он, мол, сам организовал собственное ограбление! Это вызвало такое возмущение верующих в его епархии, что началось их массовое паломничество к Калинин с требованием освободить арестованного. Московская власть, вероятно, опасалась осложнений, ибо архиепископа скоро выпустили.

Чужеродными элементами среди этой элиты старой России были два человека, которые попали сюда по обвинениям чисто уголовным. Один — очень интеллигентный польский еврей, а другой — грузинский студент. Еврей был арестован по обвинению в контрабанде, но он сам себя называл честным

„красным купцом”, так как работал в системе Внешторга, рассказывал уморительные еврейские, порою даже антиеврейские анекдоты. Карла Радека, настоящая фамилия которого была Собельсон, обзывал „крадеком”, мелким воришкой, который его вечно обкрадывал, когда он во время войны, по поручению Ленина, перевозил за небольшую плату литературу из Швейцарии в Россию. (Я слышал позже от других, что славой вора Радек пользовался еще среди своих польских соучеников, которые и наградили его за мелкие кражи кличкой „Крадек”, а он, отделив „К”, превратил „Крадека” в свой псевдоним „К. Радек”.) На радость всей камере Троцкого он называл „жидовским ублюдком” с претензиями красного Наполеона, и тоже „Крадеком”, ибо теперь знаменитую свою фамилию он украл у тюремного надзирателя одесской тюрьмы, где сидел в начале века. О Ленине, которого он лично знал, помалкивал, но Надежду Константиновну хвалил очень (он в советскую Россию тоже приехал с ее помощью).

Один раз камера начала разбирать и Ленина по косточкам: одни доказывали, что Ленин вовсе не был русским, а каким-то гибридом из смеси русской, калмыцкой, еврейской крови; другие напирали на то, что он был изменником, немецким агентом; кто-то заметил, что Ленин был „хроническим сифилитиком”, а такие больные бывают гениальными ясновидцами. „Красного купца”, хранившего до сих пор молчание, все это взорвало не на шутку: господа хорошие, если Ленин действительно был таким, каким вы его рисуете, то тогда ваша великая Россия — мишура, и ее следующий правитель может оказаться чистокровным уголовником. Я никогда не забуду этого пророчества, которое, может быть, было произнесено ради красного словца, но кото-

рое сбылось с невероятной точностью, когда грабитель и убийца Коба занял трон Ленина. Вот грузинский студент и сидел за то, что хотел предупредить восхождение Сталина к трону Ленина, правда, по другим, чисто грузинским мотивам.

Когда в августе 1924 г. в Грузии произошло мощное народное восстание под руководством подпольного паритетного комитета грузинских меньшевиков и национал-демократов, то приехавший в Тифлис Сталин лично руководил его подавлением. Сталин наводнил Грузию войсками из соседних республик. Вторая оккупация Грузии сопровождалась неслыханной даже в практике Чека свирепостью массового террора. В „исторической” речи на тифлисском партактиве Сталин дал и обоснование террора: „В Грузии накопилось много сорняка. Надо перепахать Грузию!” Сталин поручил эту „перепашку” молодому чекисту — Л. Берия. Берия оправдал доверие — было репрессировано до пяти тысяч человек, активные участники восстания все до единого были расстреляны. Среди расстрелянных был и брат нашего студента Джинария. Джинария поклялся отомстить за брата. Мингрелец, как и Берия, Джинария легко мог бы убить Берия, но он считал, что не собака сама по себе виновата, а хозяин, который ее выдрессировал на злодеяства, а потом, сняв с нее намордник, пустил ее на беззащитных людей. Этим „хозяином” в глазах Джинария был Сталин. Скоро представился хороший случай предъявить Сталину счет — летом, в связи с приездом в Москву председателя ЦИК Грузии Миха Цхакая (старый большевик, соратник Ленина, Цхакая вернулся в Россию из Швейцарии вместе с Лениным в знаменитом „запломбированном вагоне” через Германию), собралось на банкет в его честь грузинское землячество в Москве (в те годы в

Москве существовали землячества всех национальных республик). Как полагается на грузинском вечере, пили много вина, ели шашлык, тосты шли за тостами, а тамадой был самый старший — сам виновник торжества Цхакая. Пир удался на славу, все были навеселе, но никто не перепился, студенческая группа художественной самодеятельности пела грузинские песни, танцевали лезгинку на кинжалах. К концу вечера появился и Сталин. Он произнес тост за Миха Цхакая, назвав его одним из своих учителей в тифлисский период. Польщенный этим Цхакая произнес ответный тост „за ученика, который превзошел всех учителей”. И вот в это время Джинария, член артистической группы, держа руки на кинжале, подошел к столу тамады и задал Сталину в упор вопрос: „Сосо, почему ты убил моего брата?”

„Сосо — сука, он не ответил мне, зная, что его жизнь в моих руках”, — рассказывал Джинария. Тамада замял инцидент, объявив Джинария пьяным и приказав вывести его из зала. Но Сталин был иного мнения — через пару дней Джинария арестовали за „попытку убить Сталина”. Джинария был словоохотливый малый, не чуждый бравады, и мне казалось, что он такой же липовый террорист, как и я. Но и здесь Сталин был другого мнения. Через несколько месяцев я узнал от товарищей Джинария, которым я передал после своего освобождения его записку, что коллегия ОГПУ приговорила Джинария к длительному тюремному заключению. Какова была его дальнейшая судьба, не знаю. Сокамерники охотно верили Джинария, что он хотел убить Сталина, как и мне, что я не хотел убить Троцкого, только очень сожалели, что я этого не хотел. Симпатии их в происходящей внутрипартийной борьбе были явно на стороне Сталина. „Старый

мир” жил теми же предрассудками, что и на воле: Сталин устраивает „еврейский погром” наверху, чтобы вернуть Россию на „национальные рельсы”.

Меня больше не вызывали на допрос, и все считали это хорошим признаком. Ожидая моего освобождения, сокамерники начали делать мне разные устные поручения, даже зашивали записки в мою одежду. И действительно — через недели две меня выпустили. Чекисты извинились передо мной за „недоразумение”.

Впоследствии я долго думал над этим инцидентом. Уже не только на партийных собраниях, но и в партийной печати Троцкого и троцкистов называли „бешеными собаками мировой контрреволюции”, а вот заколоть или пристрелить „бешеную собаку”, оказывается, нельзя было. Потом только я узнал, что Сталин дал специальное указание Чека охранять Троцкого против возможного покушения, боясь, что физический террор против Троцкого может спровоцировать волну контртеррора со стороны троцкистской молодежи, как об этом рассказывал Троцкому и сам Зиновьев. В конечном счете выяснилось, что Сталин оберегал Троцкого от других, чтобы убить его самому, и не финкой в живот, а киркой по голове.

Первая мысль после освобождения — „вон из Москвы, сюда я больше не ездох” — на Кавказ, на Кавказ! Потом постепенно я пришел в себя, тем более, что сам во всем был виноват. Однако „белая профессура” осталась в моей памяти критической прелюдией к профессуре красной. В моем нетронutom мозгу молодого простака революции пробила она и первую критическую трещину: я начал думать, что в мире политики единой общечеловеческой правды нет. Правда обернулась категорией партийной, где между истиной и ложью нет

ни мертвой зоны, ни демаркационной линии. Оказалось, что бывает ложная правда и правдивая ложь.

Институт красной профессуры сыграл роковую роль в моей жизни. Дважды я старался окончить подготовительное отделение ИКП, но оба раза безуспешно: один раз я сам ушел, второй раз меня исключили. Третий раз — в 1934 г. — я выдержал конкурсный экзамен на первый основной курс ИКП истории, но было это уже не по моей инициативе, о чем расскажу после. Как глубоко я жалел потом, что выдержал его...

Из главы 10. В ИНСТИТУТЕ КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ ИСТОРИИ

Решающий поворотный период в истории партии и СССР — гибель „коллективной диктатуры” Центрального Комитета и триумф единоличной тирании Сталина — относится к 1933-1937 годам. Эти годы я провел в Москве, сначала на Курсах марксизма-ленинизма при ЦК, потом в Институте красной профессуры (ИКП) истории, будучи одновременно членом пропгруппы ЦК. Это давало доступ к важнейшим источникам информации, недоступным рядовым коммунистам, не говоря уже о беспартийных. К таким источникам относились: 1) закрытые партийные документы, в том числе Протоколы пленумов ЦК по стенографическим отчетам; 2) печатная информация о текущей политике для руководящего актива со стороны МК и ЦК; 3) „Бюллетень печати ЦК”; 4) эмигрантские издания.

К этому надо добавить устную информацию, которой нас снабжали на партийных собраниях Курсов марксизма, а также на разных инструктивных совещаниях ЦК и МК специально для членов пропгрупп

пы ЦК, с которой я работал до самого своего ареста. Ее члены выступали на предприятиях, в учреждениях и воинских частях докладчиками и лекторами по вопросам текущей политики партии, международного и внутреннего положения СССР. Пленумы ЦК всегда бывали закрытыми, и их стенограммы считались строго секретными. Они печатались в одном большом томе в закрытой типографии ЦК. Там же печатался и „Бюллетень печати ЦК”. На вторых страницах титульного листа обоих документов сообщалось, кто имеет право ими пользоваться. Перечисление охватывало партийные, советские, военные, чекистские и хозяйственные кадры номенклатуры Оргбюро ЦК и такие идеологические кадры, как слушатели и партийные преподаватели Красной профессуры и Курсов марксизма. Процедура ознакомления зависела от важности документов, что специально оговаривалось в сопроводительном письме из ЦК. Если речь шла о стенограмме пленума ЦК, то в сопроводительном письме на имя секретаря парткома говорилось: „По поручению тов. Сталина, Секретариат тов. Сталина при сем направляет стенографический отчет пленума ЦК для коллективного ознакомления допущенных к этому лиц. После ознакомления отчет подлежит возвращению в ЦК.

Зав. Секретариата т. Сталина А. Н. Поскребышев”.

„Бюллетень печати” не подлежал возвращению, но его надо было сжечь и протокол об этом направить в ЦК. По стенографическим отчетам пленумов ЦК можно было проследить темпы шествия Сталина к единовластию. В ЦК уже давно не было какой-нибудь группы лиц, которые противопоставляли бы себя общей политике партии — „генеральной линии” ее генерального секретаря. Последние представите-

ли таких групп уже были убраны оттуда в 1931 г. (Сырцов-Ломинадзе) и в 1933 г. (в 1933 г. из ЦК был исключен секретарь ЦК и член Оргбюро Смирнов, а члены ЦК Томский и Рыков и кандидат в члены ЦК Шмидт предупреждены, что они тоже будут исключены, если продолжат высказывать мнения, расходящиеся со взглядами генсека). Зато бывали заметны деловые расхождения по деловым вопросам. Хотя у Сталина всегда хватало фантазии использовать деловые расхождения для демагогических атак против того или иного неугодного или независимого в своих суждениях члена ЦК, но когда пленум в целом или в своем большинстве становился на сторону аргументов такого члена ЦК и принимал соответствующее решение, то Сталин, как „внутрипартийный демократ“, подчинялся большинству, чтобы потом саботировать выполнение неугодного ему решения. Бывало и так, что Сталин предупреждал принятие такого решения часто применяемым им трюком: „передать данный вопрос для дальнейшего изучения в Политбюро“, или „создать комиссию для его доработки“, или же „перенести вопрос на следующий пленум ЦК“ и т. д. Иные выступавшие не боялись дисквалифицировать Сталина, если он брался рассуждать о вещах, о которых он не имел ясного представления. В этой связи запомнилась речь на одном из пленумов ЦК первого секретаря Днепропетровского обкома, потом второго секретаря ЦК Украины после Постышева — М. Хатаевича. Сталин, который всячески искал повода дискредитировать украинское партийное руководство с тех пор, как оно решительно выступило против исключения Бухарина и Рыкова из ЦК, стал обвинять украинцев, что они совершили преступление, истратив валюту на покупку каких-то американских сельскохозяйственных машин, которые

оказались непригодными. С ответом от украинского ЦК выступил Хатаевич. Конечно, я не помню деталей его речи, но общий вывод был такой: наше неумение овладеть американской техникой не свидетельствует о негодности самой американской техники. Главное — Хатаевич открыто обвинил Сталина, что он берется рассуждать о вещах, о которых и понятия не имеет. После таких деловых возражений членов ЦК Сталину по деловым вопросам у читателя создавалось впечатление, что, оказывается, Сталин, ставший на страницах „Правды” давно уже и единоличным вождем, и „корифеем всех наук”, все еще не был ни тем, ни другим.

Для членов ЦК до 1937 г. Сталин был политическим лидером, но никак не политическим диктатором. Поэтому аргументированно возражать ему или отвергать его необоснованные требования считалось в порядке вещей и было совершенно нормальным правом суверенного коллективного диктатора — пленума ЦК. Кстати — сам Сталин никогда пленумом ЦК не руководил, председательствование на пленумах он перепоручал почти неизменно Молотову, Ворошилову, Кагановичу и Андрееву. Они направляли ход прений в нужном Сталину направлении, знали, кому и когда предоставить слово, прерывали ораторов, говорящих „не по существу”, а то и лишали слова. Роль Сталина в таких случаях сводилась к подаче „реплик”, к которым он часто прибегал, но сам выступал редко. У критически настроенных членов ЦК было свое преимущество, которое не давало Сталину возможности прибегнуть к его излюбленному аргументу: „Они ошибаются сегодня, потому что ошибались вчера”. Все эти члены ЦК во время различных внутрипартийных оппозиций были со Сталиным и с этой стороны были совершенно неуязвимы (общеизвестно, что если не

к чему было придирааться к человеку в настоящем, то Сталин начинал копаться в поисках грехов в прошлом). Учитывая опыт прошлого, члены ЦК применяли новую тактику — отстаивали свою точку зрения индивидуально, не составляя групп, фракций и не подавая коллективных заявлений или платформ по дискуссионным вопросам, лишая Сталина повода прибегать к испытанному методу расправы с критиками: объявлять неугодных членов ЦК „антипартийной фракцией” и исключать из ЦК, согласно ленинской резолюции „О единстве” на X съезде (1921). Избавиться от своего нынешнего ЦК легально, на основе Устава партии, Сталин не мог. Чтобы исключить члена или кандидата в члены ЦК, нужно собрать на пленуме 2/3 голосов, что не удавалось в свое время даже Ленину (история с Шляпниковым), но чтобы снять самого Сталина с поста генсека ЦК, нужно только простое большинство на пленуме ЦК. К началу 1937 г. осознанная большинством ЦК дилемма гласила: или Сталин и дальше останется на посту генсека, тогда, в конце концов, будет уничтожен ЦК, или ЦК должен отстоять свой суверенитет, тогда надо снять Сталина. Вот эта дилемма, как подтекст, присутствует во всех протоколах пленумов ЦК вплоть до его последнего — февральского 1937 г.

Расскажу немного о „Бюллетене печати ЦК” и об эмигрантской литературе. Содержимое этого „Бюллетеня” за рубежом можно было бы купить за гроши, но в СССР — ни за какие миллионы. „Бюллетень” считался государственной тайной, о которой могла ведать только избранная партийная элита. Он представлял собой тип журнала большого формата, набранного петитом, в серой мягкой обложке. В

нем печатались в переводе статьи западных экспертов, публицистов и журналистов, а также наиболее важные выступления зарубежных политических деятелей, посвященные критике советской внешней и внутренней политики. Статьи эти брались из ведущих органов печати в мире — немецких, французских, англо-американских, японских и др. Статьи, вероятно, переводились точно, как бы они резки ни были, никаких комментариев от редакции не бывало. Только в начале каждой статьи стояло примечание — каково направление печатного органа, откуда взята статья, и кто таков сам автор по политическим убеждениям. Положительных статей „прогрессивных писателей” „Бюллетень” не помещал (их печатали в „Известиях” и „Правде”). Главным редактором „Бюллетеня” был Карл Радек, а после его ареста в 1936 г. Клавдия Кирсанова (жена Ем. Ярославского). Странно было читать печатный орган, издаваемый типографией ЦК, в котором встречались выражения: „советская инквизиция”, „палачи из НКВД”, „коммунистический фашизм”, „деспот Сталин”. Ударные слова в непривычной комбинации, меткие сравнения, парадоксальные выводы надолго запечатлевались в памяти и вызывали какие-то подсознательные импульсы к критическому осмыслению происходящих событий. Встречались серьезные анализы советской внешней политики и социологические анализы об анатомии советского общества, в которых мы видели свою действительность глазами ее врагов, а потому — доведенную до ее отвратительной наготы. Человек адаптируется к окружающей его среде не только физически, но и всей своей психикой. Нет лучшего средства держать его в абсолютной покорности, как в герметически закупоренной среде. Если бы страна имела возможность свободно читать хотя бы наш „Бюллетень”, то

история советской власти кончилась бы где-то в двадцатых годах. Эту истину знал еще до Сталина сам Ленин (я уже об этом упоминал), когда он в ответ на требование старого большевика Мясникова допустить в стране свободную печать, чтобы бороться с непомерно растущей коррупцией партийно-советской бюрократии, ответил: „Мы самоубийством кончать не желаем и поэтому этого не сделаем” (Соч., т. 32, сс. 479-480).

Конечно, в иностранных анализах бывало, как и сейчас, много верхоглядства в понимании механики советской системы и мышления ее руководителей, но в них, в отличие от эмигрантской литературы, было больше трезвости и мало эмоций. Если они вещи называли своими именами, то не ради их качественной оценки, а для констатации факта или фиксации схожести с вещами и явлениями других систем. В этом был и остается органический порок иностранных аналитиков. Они никогда не понимали, как не понимают и сейчас, что советская система власти и общества — явление уникальное, мерить ее обычными мерками „фашизма” или „тоталитаризма”, искать ее социально-исторические корни в русском абсолютизме или греко-римских тираниях — значит засвидетельствовать леность нелюбопытного ума. Разумеется, в советской тирании есть элементы каждой из этих систем. Есть в советской тирании и неоспоримое влияние этнографии, географии, истории и духовной культуры той среды, в которой она утвердилась, — русской исторической среды. Но она не идентична ни с этой средой, ни с ее духовными предшественниками. Повторяю то, что уже говорил: она оригинальна в своей уникальности и уникальна в своей оригинальности.

Не выдержало критики и то распространенное на Западе утверждение, что советская экономическая

система, в силу своей неэффективности и невозможности выдержать конкуренцию со свободной экономикой на Западе, обречена на исчезновение. Иные даже утверждали, как утверждают и сейчас, что советские лидеры сами ее пересмотрят. Многие иностранные наблюдатели, воспитанные на рациональных категориях мышления, считали, например, Сталина человеком мира („трубка мира”), „национал-коммунистом”, который хочет построить коммунизм только в России и поэтому отказался от стратегии и доктрины „мировой революции”, а Троцкий объявлялся злейшим врагом свободного мира, так как он, как и Ленин, по-прежнему проповедует „мировую революцию”. Поэтому утверждение в России режима Сталина и поражение всякой оппозиции — в интересах Запада. (Никто не хотел принять Троцкого, даже временно, в свою страну. Троцкий писал о „планете без виз”.) Исходя из этого рационального мышления, иностранные эксперты не допускали, чтобы Сталин заключил пакт со своим главным врагом в Азии — Японией, со своим главным врагом в Европе — Гитлером, которых он сам в марте 1939 г., на XVIII съезде партии объявил главными зачинщиками будущей мировой войны.

Эти наблюдатели анализировали иррациональную советскую внешнеполитическую стратегию при помощи рациональных методов, забывая, что лидерам Кремля ничто так не чуждо, как рациональное мышление. В Кремле мыслят, как уже говорилось, „диалектическими категориями”: это значит — перефразируя Гегеля, они считают, что не все полезно, что разумно, точно так же, как не все разумно, что полезно. С точки зрения производительности труда и обеспечения хлебом собственного народа — колхозы неразумны и поэтому большевики будут вы-

нуждены их распустить, — писал один из иностранных аграрных экспертов, но он совершенно не понимал, что их „разумность” и „полезность” в Кремле оцениваются по иному масштабу — насколько они эффективны, чтобы через них контролировать крестьянство. Фантастические планы Кремля по индустриализации нереальны из-за отсутствия желающих ехать в суровые края Сибири, Дальнего Севера и Дальнего Востока, — писал другой эксперт, совершенно не подозревая, что он пишет о системе, которая основана не на свободе, а на принуждении.

Все анализы, которые исходят из того, что любые диктаторские режимы заинтересованы в нормальном функционировании своей экономической системы и обогащении своего народа, — неприменимы к советскому режиму. Движущей силой развития большевизма была и остается его концепция власти. Случается, что отдельные граждане какой-нибудь воюющей страны предают интересы своего государства и способствуют победе враждебной державы, но нигде и никогда не бывало, чтобы целая политическая партия работала над организацией поражения собственной страны в войне, как партия Ленина в первой мировой войне. В современной истории еще не было прецедента, чтобы та или иная политическая партия отказалась бы уйти в отставку, если этой ценой можно спасти цельность своей страны, между тем Ленин и его партия согласились даже на расчленение России, лишь бы самим остаться у власти, как это случилось во время заключения Брест-Литовского сепаратного мира с Германией в 1918 г. Интересы личности, групп, народа, страны, государства в целом подчинены, по концепции большевизма, интересам власти одной партии, ее руководящей клики, ее верховного диктатора.

Власть — это фокус, где сосредоточены все стра-

ти большевизма. Власть — это „либидо” всех его побуждений, стремлений и желаний. Да, совершенно неопровержимо: власть — альфа и омега большевизма, его цель и самоцель. Эта власть не имеет ничего общего ни с абсолютной монархией, ни с классической тиранией. Абсолютизм опирался на порядок, основанный на законах, изданных монархом, обязательных для него тоже, а единоличная власть самых отчаянных тиранов в истории ограничивалась областью правления, но большевистская власть, по Ленину, означает „ничем не ограниченную, никакими абсолютно правилами не стесняемую, непосредственно на насилие опирающуюся власть” (т. XXV, с. 441). Этого мало: большевистская власть опекает каждого своего гражданина духовно, социально, материально от рождения до смерти. Конечная цель этой опеки — превратить живого человека в бездушный и не рассуждающий винтик механизма власти.

Все это оставалось вне поля зрения иностранных наблюдателей. Большевистская власть изучалась лишь как разновидность тоталитаризма, а не как уникальная система новой эпохи, которую впоследствии я назвал „партократией”. В силу этого западные аналитики не предвидели таких акций советского руководства, как раздел Европы на сферы влияния между Гитлером и Сталиным по пакту Риббентропа — Молотова, раздел Польши, аннексия прибалтийских стран, война с Финляндией, захват Бессарабии — то есть судьбоносный поворот советской внешней политики от обороны своих границ к захвату чужих стран. Да и „великая чистка” в стране, начавшаяся с политических процессов в Москве, выдавалась лишь за чистку от беспокойных троцкистов — соперников Сталина. Черчилль утверждал, что Сталин поступил мудро, очистив свой тыл от врагов к началу войны. Американский посол в

Москве Девис даже сообщал в секретных докладах своему правительству, что — во время ежовщины — никаких арестов в Москве он не наблюдал, — как будто Сталин должен возить арестованных на цепи в клетке, как Пугачева, по московским улицам! Он даже писал, что заговор зиновьевцев и троцкистов против советского правительства доказан на суде.

До того как подружиться с Гитлером, Сталин охотился за знаменитостями на Западе. Завербовывал западных „прогрессивных писателей” в свою пропагандную сеть не только материальным, но и моральным подкупом под знаменем „антифашизма” через всякие там „беспартийные” конгрессы: „Конгресс за мир против фашизма”, „Конгресс в защиту культуры против фашизма”, — а также изданием их книг в СССР большими тиражами, которые им и не снились в собственных странах, платя им высокие гонорары в валюте, хотя тогдашние советские законы не признавали „копирайта”. На все это уходило из советского банка много миллионов валюты, которая вполне себя окупала, служа для выполнения за границей задач идеологических диверсий. Сталин создал из своих знаменитостей нечто вроде „духовной бригады”, куда входили Максим Горький, Илья Эренбург, Борис Пастернак, Алексей Толстой, Михаил Кольцов, которые, по поручению Сталина, привлекали к своим акциям Романа Роллана, Лиона Фейхтвангера, Андре Мальро, первоначально даже Андре Жид. Однако с Андре Жидом у Сталина получился конфуз. В 1936 г., после посещения Советского Союза, Андре Жид написал книгу „Возвращение из СССР”, в которой он рассказывал, что „три года назад я объявил о своем восхищении Советским Союзом”, но теперь на Кавказе его восхитили Кавказские горы, а „в Ленинграде меня восхитил Санкт-Петербург”. Автор клас-

сической биографии Сталина Борис Суварин пишет в своих воспоминаниях: „В 1950 г. был издан сборник „Бог тьмы”, дающий „великолепное резюме мыслей Андре Жида” о Советском Союзе с использованием текстов писателя. Это резюме остается и сегодня актуальным: „На социальной лестнице, восстановленной сверху донизу, выше всего ценятся самые услужливые, самые трусливые, самые согбенные и самые подлые”... „Несоразмерно огромные доходы, предложенные мне там, напугали меня... Из московских журналов я узнал, что в течение нескольких месяцев было продано более 400 тысяч экземпляров моих книг. Я оставляю воображению цифру авторского гонорара... Если бы я написал дифирамб СССР и Сталину — какое богатство ждало меня!” Подкупали или старались подкупить не только великих писателей, но даже и богатую буржуазную прессу. Тот же Суварин сообщает, что когда Раковский на своем процессе назвал директора газеты „Ордр” Эмиля Бюре своим соучастником по „преступлениям”, то Бюре отказался опровергнуть ложь. Почему же? Суварин узнал причину: „Некоторое время спустя мне стало известно, что „Ордр” субсидируется советским посольством” („Континент”, № 29, 1981, сс. 216, 218, 219).

Особенно мастерски Сталин использовал популярность Максима Горького, когда тот был ему нужен, и с неслыханным изуверством покончил с ним, когда Горький начал понимать свою плачевную роль. Заманив его из-за границы, Сталин крепко запряг его в свою пропагандную телегу. И Горький добросовестно выполнял задание Сталина, когда писал в „две руки” — одной рукой для внутренней службы инквизиции — „Если враг не сдается, то его уничтожают”, другой рукой для внешних диверсий НКВД — „С кем вы, мастера культуры?”. Когда же

в последние годы Горький начал отказываться подписывать погромные статьи против арестованных старых большевиков с требованием для них смертной казни, пошли упорные слухи, что Максим Горький готовит бомбу против Сталина, вроде „Не могу молчать” Толстого или „Я обвиняю” Эмиля Золя. Поэтому его поставили под надзор, отказались давать визу, прервали его письменную связь с Р. Ролланом.

Один литературный критик на Западе в своем введении к книге М. Горького, разбирая мемуары его бывшего литературного сотрудника И. Шкапы „Семь лет с Горьким”, пишет: „Жалующийся Горький стал для советского правительства опасной обузой. По свидетельству Шкапы, в последние годы жизни Горькому было запрещено выезжать за пределы Москвы—Горок и Крыма, когда он ездил на юг. Вот как реагировал он на этот запрет: „Устал я очень... Сколько раз хотелось побывать в деревне, даже пожить, как в былые времена... Не удастся. Словно забором окружили — не перешагнуть!..

Вдруг я услышал:

— Окружили... обложили... ни взад, ни вперед! Непривычно сие!

Мне показалось — я ослышался: необычны были голос Горького и смысл его слов. Глаза тоже были другие, не те, которые я хорошо понимал. Сейчас в них проступали надлом и горечь. В ушах звучало: «Непривычно сие»”.

Критик замечает: „Непривычно и, пожалуй, уникально такое изображение Горького в советской печати, данное одним из его ближайших сотрудников...” Он добавляет: „Мечты о социализме не могли совершенно затмить его взгляд на истинное положение вещей и притупить полностью его отвращение к деспотизму. Он отказался написать хвалебную

книгу о Сталине и был противником физического уничтожения партийных оппозиционеров. Существует версия о том, что Горький был отравлен по указанию Сталина" (М. Горький. Несвоевременные мысли. Введение — Г. Ермолаева. Париж, 1971, сс. 16, 17, 18).

Вероятно, это было результатом его протеста против арестов старых большевиков, о чем уже открыто говорили в партийных кругах. Передавали, что Сталин ему рекомендовал помалкивать, ибо все знают, что у Горького самого тоже „рыльце в пушку". Намерял ли Сталин на настоящее или на прошлое, не было известно. Но прошлое Горького мы все знали хорошо — если до революции он дружил с Лениным и собирал для большевиков деньги в Америке, то после революции Горький в своей променьшевистской газете „Новая жизнь" резко критиковал Октябрьский переворот Ленина и Троцкого. Стоило бы Сталину перепечатать в „Правде" писания Горького из этой его газеты — что он в свое время сделал с Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Бухариным, — как Горький сам оказался бы во „врагах народа". Ведь среди этих писаний было и следующее страшное пророчество Горького: „Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились ядом власти... Я верю, что разум рабочего класса скоро откроет пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия... Рабочий класс должен знать, что его ждет голод, длительная кровавая анархия, а за нею — не менее кровавая и мрачная реакция" (газета „Новая жизнь", № 47, 7 (20) ноября 1917 г., Петроград).

Суд над Зиновьевым и Каменевым вплотную надвигался. Если Горький успеет написать „Не могу молчать", то это может взорваться бомбой такой силы, что мобилизует против Сталина весь цивили-

зованный мир. Поэтому шеф НКВД Ягода, по его же признанию, за два месяца до суда над Зиновьевым и Каменевым отравил Горького, а чтобы замести следы, убил и его сына Максима Пешкова. Сталин же поступил с исполнителями своего задания в обычной его манере: он уничтожил всех исполнителей и свидетелей убийства Горького — самого Ягodu и всех сотрудников Горького, в том числе и секретаря Горького Крючкова, который был агентом НКВД (эту же роль при Горьком долго исполняли, только на более высоком уровне, „писатели” по линии НКВД А. Щербаков и Вл. Ставский).

Вернусь к ИКП. Пользовались мы и эмигрантской литературой — книгами, журналами и газетами. Вся закрытая литература содержалась в особом помещении, которое называлось „парткабинетом” (им заведовали особенно доверенные лица ЦК, среди которых была, например, жена Ворошилова). Входя в „парткабинет”, вы должны были сдать ваш партбилет заведующему „парткабинетом” и получить нужную вам литературу. Выносить ее вы не имеете права и должны читать ее тут же в кабинете, не делая никаких пометок и выписок. Само собою понятно, что с особым интересом икаписты читали все, что писал за границей Троцкий. Его исторические труды о революции и гражданской войне, его описания закулисных интриг во время борьбы за ленинское наследство были весьма интересны и поучительны, но его публицистические книги и писания из „Бюллетеней оппозиции” — это было сплошное прожектерство в политике. Троцкий до конца своих дней так и не понял, что сталинизм не чужеродный элемент в большевизме, что сталинизм не антиленинское течение в социализме, а, наоборот, субстанциональный ленинизм кристальной чистоты.

тоты, только доведенный до его логического конца. Страстный романтик революции, который на ее бушующих волнах чувствовал себя как рыба в воде, на скате этих волн Троцкий захлебнулся и утонул. И вот этот политический утопленник с далеких берегов эмиграции, продолжая жить в мире фантазии и миража, пророчил Сталину гибель на новых волнах новой пролетарской революции в СССР. Конечно, Сталина можно было убрать, могли это сделать и живущие в СССР троцкисты, но не „бюллетенями” и не во имя „пролетарской революции”, которая давно стала проклятием страны. Зато потрясающее впечатление производила книга Троцкого „Моя жизнь”, собственно ее вторая часть, где речь идет о революции и о внутривластной борьбе — как при Ленине, так и после его смерти. Книга эта выглядела как тряпка и была зачитана, что называется, до дыр в буквальном смысле слова. Страницы были испещрены на полях мелкими надписями вроде: „врешь”, „ложь”, „NB”, „вон оно что” и т. д. Было много знаков — вопросительных знаков — как возражения автору, восклицательных знаков, которые можно было толковать как согласие с мыслью автора. Я отмечаю эти мелкие детали вот почему: в 1937 г. всю троцкистскую литературу изъяли из „парткабинета” и начали выявлять, кто из нас читал Троцкого, но так как в этом теперь никто не признавался, то пригласили из НКВД специалиста по почеркам и нам всем, слушателям и преподавателям, раздали листы, в которых было напечатано: „врешь”, „ложь”, „NB”, „вон оно что”, „?”, „!” — напротив мы должны были написать от руки карандашом эти же слова и знаки. Если вы признались, например, что это вы написали, что Троцкий „врет”, — вы уже пропали, ибо из ЦК было указание, что наиболее усердно Троцкого ругают троц-

кисты, чтобы замаскировать свой собственный троцкизм!

Не только для иностранцев, но и для нас самих наш режим постепенно сделался иррациональным, а его вождь Сталин самой большой иррациональной величиной. Сталин дал преступный приказ: один не выполняет — его расстреливают, другой выполняет — его тоже расстреливают. Вы выразились о каком-нибудь лидере партии нелестно, — вас сажают; лидер сам сел, — но вас не освобождают. Это иррациональное явление даже зафиксировано в известном анекдоте: очередной заключенный приходит в камеру, там уже сидят двое. Он спрашивает одного — за что сидите? Отвечает: „Я ругал Радека”. Спрашивает другого, тот отвечает: „Я хвалил Радека”. Пришедший представился: „Бог троицу любит — я сам Радек!” Не думайте, что тот, кто ругал Радека, вышел на волю, это было бы слишком рационально.

Нечто подобное происходило и с нами. ЦК партии создал „парткабинет”, чтобы мы читали и знали, что о нас пишут враги, а теперь, по приказу того же ЦК, нас НКВД таскал на допросы, добиваясь признания, что мы читали контрреволюционную троцкистскую литературу в „парткабинете”!

Что же касается эмигрантской литературы в целом, то в ней, по понятным причинам, преобладал эмоциональный подход к большевизму над рассудительным анализом его деяний. Степень накала или ожесточения эмоций бывала прямо пропорциональна той идеологической дистанции, на которой критикующий печатный орган находился по отношению к большевикам. Право-монархическая печать была честна и последовательна в своей бескомпромиссности, но слишком прямолинейна в своей тактике. Либеральные органы, как „Современные записки” и „Последние новости”, меньшевистский

орган, как „Социалистический вестник” тоже красовались на полках „парткабинета”, но я никогда не видел на этих полках заграничных „нейтральных”, просоветских или антикоммунистических изданий.

К опубликованию воспоминаний депутата Государственной Думы Н. В. Савича

Как это ни удивительно, но история Государственной Думы все еще не написана. А вместе с тем, период Думской монархии продолжает оставаться тем неповторимым временем, когда в общественной и политической жизни России начали складываться парламентские традиции.

И они вовсе не сводились только к свободному доступу к думской трибуне для всех, включая большевиков. К ним, к этим традициям, принадлежала также и далеко не легкая работа в избираемых думских комиссиях, где, борясь и споря с представителями правительства или одобряя и поддерживая их, депутаты Государственной Думы непосредственно участвовали в подготовке и проведении в жизнь решений часто большого государственного значения. Иначе говоря, они соучаствовали в той или иной степени в управлении государством.

Именно это участие предусматривала 5-я статья Указа от 20 февраля 1906 года, гласившая: „Государственная Дума может для предварительной разработки подлежащих ее рассмотрению дел образовывать из своей среды отделы и комиссии”^{*}.

^{*} Цитируем по сборнику „Государственная Дума в России”. М., 1957 г.

Если в эмиграции появился ряд ценных работ и воспоминаний, таких, как, например, мемуары лидера кадетской партии П. Н. Милюкова* или лидера фракции октябристов С. И. Шидловского**, не говоря о такой исключительно ценной по своему содержанию работе, как „Вторая Государственная Дума” В. А. Маклакова, то тем не менее приходится признать, что ни один из бывших депутатов Государственной Думы не остановился сколько-нибудь подробно в своих трудах или воспоминаниях на работе хотя бы одной из думских комиссий.

Этот существенный пробел в изучении одной из важнейших страниц нашей недавней истории восполняют в значительной степени публикуемые нами впервые записки секретаря фракции октябристов и возглавителя думской комиссии по делам военноморского флота Н. В. Савича.

* *

*

Никанор Васильевич Савич родился 22 декабря 1869 года в отцовском имении Беловоды, Сумского уезда Харьковской губернии. Как он сам не без иронии пишет в своих воспоминаниях, он начал свою земскую, а потом и политическую карьеру „по

* П. Н. М и л ю к о в. Воспоминания. Тт. I и II. Изд. имени Чехова, Нью-Йорк, 1955.

** С. И. Ш и д л о в с к и й. Воспоминания. Ч. I. Берлин, 1923. К сожалению, в своих воспоминаниях, говоря о работе земельной комиссии, в которой он участвовал, С. И. Шидловский ограничился словами: „Считаю работы в подкомиссии, комиссии и пленуме Думы наиболее интересными и оставившими во мне наилучшие воспоминания из всей моей деятельности в стенах Таврического Дворца”. — с. 133.

ошибке". Вместо того, чтобы остаться при физико-математическом факультете Петербургского университета для „подготовки к профессорскому званию", как тогда говорили, т. е. в аспирантуре, после окончания факультета с серебряной медалью он увлекся работой в уездном земстве.

Молодой, образованный, блестящий оратор и земский деятель Сумского уезда, он избирается депутатом Думы III и IV созывов от Харьковской губернии и вскоре становится ближайшим сотрудником А. И. Гучкова и секретарем фракции октябристов. Обладая исключительной работоспособностью и пользуясь репутацией безупречно честного и умеющего хранить секреты депутата, Н. В. Савич избирается и в III и, повторно, в IV Думе возглавителем подкомиссии по военно-морским делам. Практически от него зависит принятие Думой и „малой", и „большой" программ строительства русского военно-морского флота после войны с Японией, а его опыт в финансовых вопросах вскоре был признан всеми выдающимися деятелями адмиралтейства, начиная с адмирала Григоровича, ставшего министром не без поддержки думской комиссии, и кончая молодым и талантливым докладчиком от морского Генерального Штаба, тогда капитаном первого ранга Александром Васильевичем Колчаком*.

Авторитет Н. В. Савича в военно-морских делах был настолько велик, что сразу после февральской революции Временное Правительство предложило ему занять пост военно-морского министра и сесть в Адмиралтействе, „под шпцем". Но возглавитель думской комиссии Савич, сумевший доказать ряду

* См. Н. С а в и ч. Три встречи. Архив Русской Революции. Т. X. Берлин, 1923. Сс. 169—174.

министров-адмиралов, что они, как писал орган октябристов „Голос Москвы” „подотчетны Государственной Думе”, отказался, зная зависимость Временного Правительства от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Страницы его воспоминаний, посвященные мартовским дням 1917 года, может быть, самые яркие и, конечно, наиболее драматические. Разумеется, Н. В. Савич, будучи искренним и бескорыстным патриотом, не мог оставаться долго в Петрограде после Октябрьского переворота. В мае 1918 г. он уезжает на юг и в декабре того же года участвует в известном совещании русских политических деятелей с представителями союзников в Яссах. В отличие от большинства кадетов, высказывавшихся во главе с П. Н. Милюковым за то, чтобы во главе антибольшевистских сил стоял ген. А. И. Деникин, Н. В. Савич вместе с А. И. Кривошеиным настаивали на кандидатуре вел. князя Николая Николаевича.

Если П. Н. Милюков, Федотов и др. кадеты утверждали о ген. Деникине (получившем 9 голосов из 12 на этом совещании) что он „...честный воин, глубокий патриот, демократ по привычкам, всеми уважаемый; правда, несколько мягок и уступчив...”* то Савич, как передает М. С. Маргулиес, защищая кандидатуру бывшего Верховного Главнокомандующего, говорил: „Нужно, чтобы вел. кн. Николай Николаевич успокоил евреев, для привлечения их на свою сторону: он должен им гарантировать отмену ограничительных законов, дать гарантию, что не будет погромов. Помещикам он должен обеспечить выкуп за землю, крестьянам — владение этой землей... Все это может сделать лишь

* М. С. Маргулиес. Год Интервенции. Книга первая. Берлин, 1923. С. 30.

великий князь; те, кто видел его в последнее время, говорят, что он намного ушел вперед...”*

Эти разногласия, однако, не означали для Савича отказ от участия в Белом движении, хотя он и остался в меньшинстве. Вскоре он прибыл в Екатеринодар, где по личному приглашению генерала Деникина вошел в состав Особого Совещания — правительства при Главнокомандующем, созданного еще генералом М. В. Алексеевым.

Неприкрашенный и трезвый анализ гражданского управления при генерале Деникине, сделанный одним из участников этого управления Н. В. Савичем, — выгодно отличается своей объективностью от книги кадета К. Н. Соколова „Правление генерала Деникина”. В то же время Н. В. Савич, будучи исключительно независимым по характеру человеком, дает весьма резкие и правдивые характеристики ближайшим военным и гражданским сотрудникам Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России, с которыми он находился в непосредственном общении до самой эвакуации из Новороссийска в марте 1920 года.

Тяжело заболев уже на корабле, в море, воспалением легких, Н. В. Савич оказался заброшенным судьбою в русский госпиталь Красного Креста, в городе Ниш в Сербии. Здесь его нашел выехавший по указанию Врангеля за Кривошеиным, его секретарь Н. М. Котляревский, имевший поручение от генерала найти Савича и пригласить его срочно прибыть в Крым.

С генералом Врангелем Н. В. Савич близко познакомился в начале 1920 года во время отступления из Ростова, когда Врангель подобрал его и взял в свой вагон. Уже тогда Савич почувствовал свою

* М. С. Маргулис. Год Интервенции. Книга первая. Берлин, 1923. С. 102.

близость к Врангелю и, получив приглашение, немедленно отправился назад, в Россию. В Крым Н. В. Савич смог прибыть только в июле, в день свв. Петра и Павла, попав прямо на именины к ген. Врангелю. Он тут же был назначен Государственным Контролером.

Личные отношения с ген. Врангелем, пишет Савич, „установились сразу доверительными”, а по всем вопросам, связанным с его новой деятельностью, он работал в тесном содружестве с Кривошеиным, с которым, как он подчеркивает, „сблизился еще в деникинский период”. Врангель, пишет далее Савич, говоря о деле гражданского управления в Крыму, „...по существу... всецело передоверил все Кривошеину... кроме официальных докладов, происходивших два раз в неделю, я виделся с последним почти каждый день и мог посещать его по делам каждый раз, когда считал это нужным”.

Говоря о правительстве Врангеля, М. С. Маргулиес с удовлетворением говорит, что „государственным и полевым контролером был назначен — бывший член Государственной Думы Н. В. Савич... умный, дельный и несомненно лично честный человек”*.

Даже после оставления армией генерала Врангеля Крыма и отъезда из Константинополя Кривошеина и Бернадского, Савич согласился остаться заместителем последнего (начальника Управления финансов в правительстве генерала Врангеля) и возглавить Ликвидационную Комиссию в Константинополе, бывшую последним остатком русской государственности после эвакуации Белой Армии из Крыма.

* М. С. М а р г у л и е с. Год Интервенции. Книга третья. Берлин, 1923. С. 209.

Таким образом, Н. В. Савич, можно сказать, был последним официальным штатским представителем русской армии за рубежом.

Проведя тяжелый год в Константинополе, где он находился под угрозой ареста со стороны союзных властей (к которым обращались с часто необоснованными претензиями кредиторы армии генерала Врангеля), Н. В. Савич получил разрешение от последнего главнокомандующего русской армией выехать в Париж, с тем чтобы войти там в Деловой Комитет, сформированный с целью сбора остатков денежных средств и имущества, принадлежавшего России за границей, и передачи их голодающим в Галлиполи и на острове Лемносе частям армии генерала Врангеля.

В начале февраля 1921 года Н. В. Савич выехал в Париж, едва избежав ареста английскими властями на Константинопольском вокзале. Свою эмигрантскую жизнь Н. В. Савич почти целиком провел в Париже, переселившись уже в двадцатых годах в одно из предместий французской столицы — Аньер. Здесь он и скончался 1 марта 1942 года, и был похоронен на кладбище Сен Женеьев де Буа.

* *
*

Приобретенные нами в одном частном собрании „Воспоминания” Н. В. Савича состоят из пяти частей. Первые две посвящены в основном его деятельности как депутата Государственной Думы III и IV созывов. Эти две части вполне закончены, разделены на главы и машинописный текст выправлен рукою самого автора. Третья часть охватывает период от Февральской революции до начала 1918

года. Она не совсем закончена, судя по очевидным пропускам. Наконец, в последних двух частях автор говорит о своем участии в Особом Совещании при генерале Деникине и в правительстве при генерале Врангеле.

Судя по тому, что, говоря о событиях 1918 года, Н. Б. Савич не раз употребляет выражение „с тех пор прошло 10 лет”, можно предположить, что он работал над третьей частью своих мемуаров в 1927 году. Это подтверждает и письмо ген. П. Н. Врангеля от 15 июля, относящееся, бесспорно, к 1927 году, ибо, хотя на оригинале не поставлен год, в письме говорится о предстоящем переезде из Сремских Карловци в Бельгию, в Брюссель, куда генерал Врангель прибыл в сентябре 1927 г.

Во всяком случае, судя по этому письму ген. Врангеля, выразившего сожаление, что у Н. В. Савича еще „нет ничего” для „Архива Белой борьбы”, автор воспоминаний в 1927 году не закончил ту часть своей работы, которая посвящена гражданской войне. Это отнюдь не означает, что до этого времени Н. В. Савич уже не работал над подготовкой своих мемуаров. Наоборот, об этом говорит уже указанная нами статья „Три встречи” в X томе „Архива Русской революции”, очевидно, написанная по просьбе И. В. Гессена, ибо она представляет своего рода введение к опубликованному в этом же томе „Протоколам допроса адмирала Колчака чрезвычайной следственной комиссией в Иркутске, в январе-феврале 1920 года”.

С другой стороны, в недавно вышедшей в Москве книге Н. Г. Думовой приводится „...анализ расхождений между „правыми” и кадетами, сделанный по просьбе Деникина (при подготовке его „Очерков

русской смуты”) членом Особого Совещания октябристом Н. В. Савичем”*. Вводя, таким образом, впервые после публикации И. В. Гессена материалы Н. В. Савича в научный оборот, Н. Г. Думова ссылается на недатированные письма Н. В. Савича ген. А. И. Деникину, находящиеся в Коллекции ЦГАОР СССР. Поэтому труд Н. Г. Думовой интересен уже тем, что она впервые широко использует материалы „Архива Русской эмиграции”, вывезенного советскими властями из Праги в 1945 году, о чем писал (см. „Грани” № 125) наш покойный друг, проф. Н. Е. Андреев.

С другой стороны, нам известно, что, закончив работу над своим фундаментальным трудом, „Очерками Русской Смуты”, ген. А. И. Деникин вместе со своим ближайшим сотрудником полковником П. В. Колтышевым выехал в Прагу, где передал будущему директору Р.З.И.А. в Праге проф. Яну Славику три ящика со своими архивами и материалами, использованными при написании „Очерков Русской Смуты”**. Эти три ящика и послужили основанием для создания в будущем Русского Заграничного Исторического Архива в Праге.

Таким образом, готовя свои мемуары, Н. В. Савич помог генералу А. И. Деникину в составлении его труда, и его можно видеть крайним у окна на коллективной фотографии членов Особого Совещания, опубликованной ген. Деникиным на стр. 209 в IV томе „Очерков Русской Смуты”***.

* Н. Г. Д у м о в а. Кадетская контрреволюция и ее разгром. Изд-во „Наука”, Москва, 1982. Сс. 278—279.

** Письмо полковника П. Н. К о л т ы ш е в а к автору этих строк.

*** Ген. А. И. Д е н и к и н. Очерки Русской Смуты, т. IV, с. 209. Берлин, 1925.

Но если из всей этой подготовительной работы Н. В. Савича мы пока получили всего лишь несколько страниц в „Архиве Русской Революции” и, можно сказать, несколько капель в виде выдернутой Н. Г. Думовой короткой цитаты из его писем ген. А. И. Деникину, то, к счастью, теперь мы располагаем полным и законченным текстом воспоминаний этого выдающегося русского общественного и политического деятеля, значение которых трудно переоценить.

И приступая сорок лет спустя после смерти автора к публикации этого исключительно ценного для нашей истории материала, нельзя не согласиться с оценкой близко знавшего Н. В. Савича генерала П. Н. Врангеля, писавшего ему: „Ваши воспоминания были бы особенно ценны, как одного из лиц наиболее осведомленных и как свидетеля с исключительным даром беспристрастного объективного анализа”.

15 Лист

Поздравительный и добрый

Привет Василью

Сердечное спасибо за Ваше
поздравление, напутья и ви-
наше.

Всегда счастливо, что у Вас
много друзей. Прощай
Большой барин. Ваше ве-
щество будет Вам все особенно

Оригинал, полученный нами из одного частного собра-
ния. — Р е д.

утомле дашь одного из них
наиболее отдохнувших и
даже старших в седюи-
тельничих дарах Бетрис-
трасанго, Вальдивиясо,
Асенсио.

Войти при седюи даде
и днес. Агримикаю во
завершил отъ. мост. мосты,
аподе пришло. мост. мосты

Воскреситъ и наши сироты-
дети для возрожденнаго
Божества. Но всаеина об-
щно была, то по рождену
отъ народа до него не
включитъ, а само Божество
идеи дава и преуспе.

Разсчитываю въ каковъ
всегода между первымъ
и последующимъ въ

табзиш. Раньше отню
срада едва ли управлялся
Вот так. жму Вашу руку
и шлю наилучшие поже-
лания.

Ваш П. Врангель

15 Июля

Глубокоуважаемый и дорогой
Никонор Васильевич

Сердечное спасибо за Ваше поздравление, память и внимание.

Весьма сожалею, что у Вас нет ничего для Архива Белой борьбы. Ваши воспоминания были бы особенно ценны как одного из лиц наиболее осведомленных и как свидетеля с исключительным даром беспристрастного, объективного анализа.

Вот три недели как я здесь. Принимаю все зависящие от меня меры, чтобы переезд мой был воспринят моими соратниками здесь возможно менее болезненно. Что касается общего дела, то моя работа от переезда, конечно, не изменится, и дело будет идти как и прежде.

Рассчитываю выехать отсюда между первым и шестнадцатым сентябрем. Раньше этого срока едва ли управляюсь.

Крепко жму Вашу руку и шлю наилучшие пожелания.

Ваш П. Врангель



Н. Б. Савич в 30-х годах.

ХАРЬКОВСКАЯ губернія.



САВИЧЪ,

НИКАНОРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ.

Родился въ 1869 г.

Окончилъ

Землеуладѣлецъ Сумскаго уѣзда. Окончилъ физико-математич. фак. по естествен. отдѣлу слѣб. университета съ серебряной медалью. Былъ оставленъ при университетѣ и готовился къ кзедру по анатоміи. Занимается сельскимъ хозяйствомъ въ своемъ имѣніи Бѣловоди.

399



Членъ Государственной Думы

(третьяго созыва)

Миканоръ Васильевичъ

Савичъ



Государственный Секретарь

Бар. Коленгубъ

Подпись председателя билета

Н. Савичъ

ЭКСПЕД. ЗАГОТ. ГОСУД. ДУМАГЪ. 1907 г.



БИЛЕТЪ № 329

выданъ изъ Канцеляріи Государственной Думы

члену Государственной Думы IV созыва отъ

Харьковской губерніи

Миканору Васильевичу

Савичу.



Секретарь Государственной Думы

Н. Виноградовъ

Подпись председателя билета

Н. Савичъ

Воспоминания

Часть I. Государственная Дума

КАРЬЕРА ПО ОШИБКЕ

После смерти отца на моих руках осталось большое запущенное имение, материальное положение семьи было трудное, братья еще учились. Пришлось переехать в деревню, начать перестраивать хозяйство на новый лад.

Я жил очень уединенно, почти никого не видал, в город ездил лишь по делу, на очень короткое время, ни с кем из обитателей Сумского уезда знаком не был, словом — жил отшельником.

Поэтому велико было мое удивление, когда однажды я из местной хроники в газете „Южный Край” узнал, что меня выбрали гласным сумского уездного земства.

Осенью я получил повестку, вызывавшую меня на очередную сессию земского собрания. Я поехал.

Состав гласных был мне совершенно незнаком, даже И. Д. Траскина, нашего предводителя дворянства, я до того ни разу не видел. Я начал отбывание новой повинности с того, что сделал ему визит. Он оказался очень милым, симпатичным человеком, уже пожилым, хорошо знал когда-то моего отца, принял меня приветливо, но у него была, видимо, какая-то нотка не то недоверия, не то настороженности в отношении к моей будущей земской деятельности.

Только потом, в конце сессии, он мне поведал, что это было вызвано тем, что меня предложили на выборах в качестве кандидата в гласные группа „либералов”, как он называл партию нашего уездного председателя управы. То были годы, предшествовавшие волне „освободительного движения”, которая у нас пока что выражалась в громких застольных речах да в сильном разбухании земской сметы. Уезд был богатый, поэтому было с чего „гнать деньгу” на нужды младшего брата.

Председатель управы, И. М. Линтварев, был человек энергичный, любил популярность, конечно, принадлежал к левому крылу общественности. Сам мелкий землевладелец, он сумел установить близкий контакт с группой гласных-крестьян, с помощью которых успешно боролся с „правой” группировкой, все стремление которой выражалось в одном слове — экономия.

В этой борьбе интересов собрание раскололось почти на две равные группировки, каждый голос был на счету, поэтому казалось несомненным, что либералы выставили мою кандидатуру потому, что были уверены в моем „либерализме”, т. е. в готовности вотировать возможно больше новых расходов. Траскин очень удивился, когда я ему сказал вскользь, что „никого из гласных не знаю и прошу его, нашего предводителя, меня познакомить с коллегами по собранию и в первую очередь с председателем управы”.

На земском собрании мне повезло. Собрание, как всегда, начало с выбора секретаря. Обычай был, что эту повинность отбывают по очереди самые молодые по годам и по избранию члены собрания. В данном случае таким оказался я и на меня возложили обязанность секретаря. У меня была острая память, способность схватывать сущность прений, умение

почти стенографически записывать речи ораторов; словом, мой первый же журнал произвел благоприятное впечатление, моя карьера земского гласного была обеспечена.

Очень скоро я вошел в курс наших земских дел, быстро разобрался в вопросах, стоявших на очереди, понял причину происходившей в собрании борьбы.

Будучи естественником по образованию, пройдя суровую хозяйственную школу в период приведения в порядок своего собственного дела, я развил и укрепил прирожденный инстинкт, побуждавший, с одной стороны, к улучшению и развитию всякого дела, за которое я брался, а с другой — к стремлению соблюдать во всем возможную экономию, избегать всякого расхода, который не является строго необходимым для развития дела.

Поэтому в происходящих прениях, в идущей среди гласных борьбе, я занял среднюю линию — я поддерживал все начинания, имевшие целью развитие основных задач земского дела, и боролся против всякого ненужного раздувания сметы, к чему у нас стремился третий земский элемент, незаинтересованный в политике сберегания денег плательщика и уже пропитанный социалистическими устремлениями. В результате первой сессии собрания меня выбрали во все земские комиссии, что дало возможность иметь уже большое, часто решающее, значение в направлении дела.

Когда сессия кончилась, меня пригласили гласные „левой” группы участвовать в их товарищеском ужине. Тут я не удержался, спросил их, почему они, совершенно меня не зная, выставили мою кандидатуру в гласные.

Брат председателя управы, Г. М. Линтварев, впоследствии перводумец, признался, что „вышла

ошибка". За выбытием кого-то из числа гласных имелась вакансия, а подходящего кандидата у их группы не было. Они опасались, что будет выбран кто-либо из сторонников „консервативной партии", т. е. из лиц, которые намерены были ставить препятствия к расширению земского хозяйства. Они знали, что в глуши уезда, в селе Беловоды, живет один из братьев Савичей, человек еще молодой, который недавно приезжал в местный суд по какому-то делу. Его они не знали, но слышали, что он помощник присяжного поверенного петербургской палаты. А раз он молод и при том принадлежит к сословию адвокатов, значит должен быть „прогрессистом". Вот почему они выставили эту кандидатуру. Но никто не знал, как зовут этого Савича, а в списке избирателей Сумского уезда было несколько лиц этой семьи. Стали наводить справки, кто-то из управляющих сказал, что беловодского Савича зовут Никанором — вот они и выставили его кандидатом. Потом оказалось, что они имели в виду моего брата — Николая, который действительно был помощником присяжного поверенного. Но делать было нечего, выборы состоялись, я был уже выбран — как оказалось — по ошибке.

Так началась „по ошибке" моя земская карьера.

Вскоре я увлекся земским делом, приобрел известное влияние у себя в уезде. Отныне дальнейшее мое переизбрание было обеспечено, я оставался гласным до революции.

Наступили трудные времена. На Дальнем Востоке шла тягостная война. Внутри нарастала революционная волна, которая уже выражалась не в безобидных застольных спичах, а в кровавом зареве „иллюминаций".

Однажды я получил повестку от предводителя, который созывал гласных земского собрания для совещания по поводу текущих событий.

Как раз в то время происходили съезды земских и городских деятелей, формировались кадры будущей партии кадетов. Все чаще в печати и в обществе дебатировался вопрос об отчуждении частновладельческой земли, о формах будущей конституции, о избирательных системах в будущее народное представительство.

Я, конечно, поехал. В здании земской управы я застал, кроме земских гласных, значительное число лиц мне неизвестных, землевладельцев, промышленников, купцов, — словом, все сливки сумского общества. Места для публики были переполнены. Траскин довольно путанно изложил, что он просил нас, собравшихся, побеседовать по злободневным вопросам, так как вопрос о созыве народного представительства близок к разрешению и надо заранее знать, как отнестись к разным вопросам, которые будут поставлены на очередь в новых законодательных учреждениях. Для введения в прения председатель управы любезно согласился сделать доклад о том, что он узнал во время последней поездки на съезд земских деятелей.

После этого Линтварев сделал длинный доклад о решениях, принятых на съезде, и подробно развил программу об отчуждении земель. После него говорил очень богатый землевладелец Прянешников, убеждавший собрание принять эту программу, которая одна может спасти нас от катастрофы. Он, видимо, был в полной панике, ему мерещилась уже гильотина, окровавленные головы, катящиеся по земле.

Настроение собравшихся стало подавленным, никто не смел слова молвить, не только что возра-

жать. Находившаяся среди публики молодежь шумно приветствовала обоих ораторов, устраивала овации каждому из их демагогических выводов.

В то время я очень много читал вообще, а на животрепещущие темы момента особенно. Литература затронутых вопросов мне была хорошо известна, у меня была хорошая память, все цифры, вся статистика вопроса была у меня в голове. Я мог цитировать любую таблицу по памяти. Поэтому я попросил слова, которое мне охотно дали, никто больше говорить не хотел или не смел.

Это была моя первая политическая речь. Я никогда не считал себя оратором, не думал, что могу говорить, увлекая слушателей. Но тут что-то меня подхлестнуло — я говорил более получаса. Сперва по пунктам, я разбил, опираясь на статистические данные, выводы Линтварева, указал на отсутствие в его построении знания современных условий сельского хозяйства в России, затем перешел к политическому значению поднятого им вопроса, его крайней рискованности для экономического и хозяйственного развития России, опасности вызывать духов демагогии наружу, коих потом никто, менее всего вызвавшие, не будут в силах ввести в оглобли. Словом, я увлекся. Сперва мне оппонировали из публики, прерывали враждебными возгласами. Потом все затихло — люди слушали.

Когда я кончил, — водворилось на момент гробовое молчание, потом начались аплодисменты.

Моя политическая карьера началась. Тут же, после заседания, меня окружили, пожимали руку, благодарили за то, что я так полно осветил вопрос об отчуждении земли и заставил стушеваться сторонников этой меры. Реакция от моего выступления была сильна не только среди крупных землевладельцев, но и среди крестьян-собственников.

Этот очень многочисленный в нашем уезде класс до последнего времени находился под влиянием группы земских гласных, объединявшихся около председателя управы. Мелкие землевладельцы-крестьяне всегда принимали близко к сердцу интересы крестьянской массы, они всецело сочувствовали расширению деятельности земства в пользу обслуживания крестьянства, поэтому они были на стороне „либеральной” группы против слишком прямолинейной политики „консерваторов”. Но у них — мелких собственников — был резко развитый инстинкт собственности, они по природе своей были хозяйственниками, ревниво относились к общественной копейке, были противниками всякого расхода, если таковой не был необходим для обслуживания насущных нужд крестьянства. Занятая мною позиция в вопросах земской деятельности им была близка и понятна, соответствовала их устремлениям. Поэтому за последнее время они делили свои симпатии между „либералами” и группой, организовавшейся около меня.

Начавшая революционная агитация в уезде их перепугала. Они близко стояли к массам, отлично сознавали, откуда идут „иллюминации”, кто им сочувствует, кто против них не борется.

Их собственнический инстинкт был возмущен, они боялись и за себя, за свое имущество. Перепуганные и смущенные, они не знали, куда податься, за кем идти, на какую платформу им надлежит встать.

Мое выступление сыграло большую роль в деле политической ориентировки присутствовавших представителей этой среды: оно соответствовало их внутренней психологии, они и поспешили занять определенную позицию. Отныне можно было надеяться, что на будущих выборах этот очень много-

численный и потому влиятельный класс пойдет с нами, представителями умеренно-прогрессивного течения и против левых, и против крайних правых.

Что касается крупных собственников уезда — они решили, что впредь при выборах в политические учреждения следует поддержать меня и тех, кто идет со мной. По крайней мере один из наиболее влиятельных представителей крупного землевладения подошел ко мне и сказал: „Если будут выборы в Думу, вы — мой кандидат”.

Эта группа будущих избирателей обратилась ко мне с просьбой записать сущность моей речи, чтобы они могли ее напечатать и распространять в уезде.

Негодованием группы „либералов” не было границ. Ведь это они вытащили меня из глуши почти насильно, а теперь я им встал поперек дороги.

Для них было ясно, что будущую избирательную кампанию, по крайней мере среди землевладельческой курии, они безвозвратно проиграли. Так оно и было, ни разу за все четыре избирательные кампании от этой курии не прошел ни один кадет или левый, хотя наиболее влиятельную по числу группу избирателей составляли уполномоченные от мелких собственников. Ибо эта избирательная коллегия была на моей стороне, она раз навсегда встала на известную политическую платформу, с которой ее могли сбить разве только события в стиле революции 1917 года.

С этого памятного дня мой уезд нашел свою политическую физиономию: земская среда и землевладельческий класс встали на октябристскую платформу, пошли по руслу умеренно-либерального течения.

Мы опускаем две следующие главы, посвященные выборам в I и II Государственные Думы, куда автор, как он сам пишет „не попал, т. к. в губернском избирательном собра-

нии у нас, октябристов, — не хватило нескольких голосов”. Однако до перехода к воспоминаниям автора о III и IV Думах, когда он неизменно избирался депутатом, мы приводим из пропущенных глав короткие выдержки (ред.) :

Выборы в Первую Государственную Думу были моментом, который никогда не изгладится из памяти участников этой первой избирательной борьбы в русское вновь народившееся народное представительство. В этот момент все мы в отдельности и вся Россия в целом держали экзамен на политическую зрелость, ибо от исхода избирательной борьбы зависело не только ближайшее будущее русского народного представительства, но и судьба самой русской Державы, предрешение вопроса о том, пойдет ли наша история по пути мирной эволюции в результате совместной работы народного представительства с исторической Властью, или же нашей родине суждено будет пройти через величайшие потрясения, вызванные усилением революционного напора снизу и отчаянного сопротивления ему сверху, — словом, продолжением и углублением деления нации на „мы” и „они”.

Оценивая политику П. А. Столыпина, в итоге его попыток сотрудничества со II Думой, автор заканчивает главу, посвященную этой Думе (ред.) :

В этот момент и Верховная Власть и правительство уже сделали выбор пути, которым нужно было идти после неизбежного роспуска Второй Государственной Думы. Идея возвращения к самодержавно-бюрократическому правлению была отвергнута. Добровольная поддержка и моральное содействие депутатов правого блока, в громадном большинстве принадлежавших к классу земельных собственников, и представителей наших земских и городских органов самоуправления, являлись показате-

лем того, что, опираясь на „либеральных земцев”, правительство может добиться возможности совместного существования и сотрудничества власти с новым народным представительством.

Тем самым наметился путь, по коему следовало идти Столыпину и его сотрудникам в деле развития и укрепления у нас представительного строя, постепенного перехода к конституционному правлению в России.

Столыпин в своей прошлой деятельности имел случай близко узнать работу на местах земского элемента, изучить его психологию, он прекрасно сознавал, что те элементы, которые в течение десятилетий выделяли из своей среды организаторов и деятелей русского самоуправления, являются наиболее подготовленными и для парламентской деятельности, по крайней мере в первый период работы новых законодательных установлений.

Ведь всего в законе предусмотреть все равно было нельзя. В деле развития и укрепления конституционного строя не менее важную роль играет традиция, выработка и укрепление известных правил и взаимоотношений между властью и народным представительством. Для этого нужна известная традиция во взаимных отношениях власти и народного представительства, — вернее, тех классов населения, которые играют доминирующую роль на выборах.

Столыпин сознательно пошел по раз избранному пути, он делал ставку на земский элемент, на класс земельных собственников. Представительство этих элементов во Второй Государственной Думе укрепило его в этом намерении, дало ему вещественное доказательство правильности избранного пути.

Прошло несколько недель. Вторая Государственная Дума была распущена. Последовал указ о новом избирательном законе, получивший название

закона 3-го июня. Закон был издан в порядке указа, он был по существу государственным переворотом. Но он спасал самую сущность нового конституционного строя, „представительного строя”, как его называл сам Столыпин.

В той среде, к которой я принадлежал, этот закон встретили с нескрываемым ликованием. Для нас это было симптомом того, что, несмотря на нелепое поведение первых двух Государственных Дум, „увенчание здания”, которого столько десятилетий добивались земцы, не получило смертельного удара, что сохранилось участие представителей общественности в деле управления государством, в контроле над деятельностью исполнительной власти. Вместе с тем мы полагали, что отныне путь революции будет оставлен, что общество убедится в том, что будущность и расцвет государства — в спокойной эволюции, в сотрудничестве представителей общества с наследственной Властью. Мы сознавали, что новый закон, давая нам большие права, тем самым налагал на нас большую ответственность за будущее страны. Но тогда мы верили в свои силы, вернее — в свои добрые намерения. Мы были убеждены, что, став на путь созидательной работы, совместно со Столыпиным нам удастся прочно наладить отношения Власти с народом в лице вновь созданного народного представительства.

ТРЕТЬЯ ДУМА

Первые шаги Третьей Государственной Думы кончились неудачей, известным конфузом, в котором суеверные люди видели плохое предзнаменование для нового народного представительства. После довольно длинных прений по декларации Прави-

тельства и ответному адресу Государственная Дума не могла принять какую-либо мотивированную формулу перехода к очередным делам, оказалась бессильной высказать какое-либо определенное мнение.

Дело обстояло так.

Когда мы собрались в Петербурге после выборов, правительство считало, что громадное большинство депутатов принадлежит к крайним правым. Того же мнения держались и лидеры этой партии, да и мы, октябристы, боялись, что преобладающая роль попадет в руки Маркова и К^о.

Причиной такого заблуждения было то, что на выборах не было яркого разделения между разными оттенками политических настроений среди того антиреволюционного блока, который объединил все консервативное, умеренное и просто перепуганное „иллюминациями” и разгромами имений глубоко мирное, имущее и цензовое большинство обывателей провинции. Выбирали не по принадлежности к той или другой партии, в этом еще не разбирались, а излюбленным кандидатом являлся тот, кто проявил наибольшую активность во время выборных кампаний против левого картеля.

В силу этого обстоятельства местная администрация причисляла всех выборщиков, прошедших в уездах по списку правого блока, к правым. Губернаторы, в свою очередь, телеграфировали в министерство, что выбраны такие-то депутаты, принадлежащие к „правым”. Поэтому официальная статистика давала сводки, согласно коим почти 2/3 избранных принадлежали к партии „правых”.

Когда мы съехались, к услугам новых депутатов правого блока было два места для сбора, для взаимных встреч. Оба помещения находились на Моховой, одно было — „Клуб правых и умеренных”,

организованный еще во время Второй Государственной Думы. Хозяевами там были П. Н. Крупенский, Марков II-й и другие бывшие втородумцы. Другим местом собраний был клуб „общественных деятелей“, где явно превалировали более либеральные деятели, в том числе многие видные октябристы. Съехавшиеся депутаты на первых порах ходили в оба места, слушали речи будущих ораторов, присматривались, словом — самоопределялись. Я был членом первого клуба с момента его образования, хотя и был определившимся уже октябристом с первого дня образования этой партии. Поэтому в первые дни я заходил в клуб правого толка, чтобы посмотреть, с кем мы будем иметь дело в Государственной Думе. Тут я наслушался крайне агрессивных речей Маркова II-го и К^о, которые видели себя победителями, вершителями судеб Думы и мечтали использовать последнюю как орудие крайней реакции, вплоть до самоликвидации народного представительства. Для этой цели они хотели прежде всего захватить в свои руки весь президиум Государственной Думы, составить его сплошь из членов своей фракции. Тут они впервые встретили некоторое возражение со стороны своих же сочленов, которые учитывали большой моральный, общественный и интеллектуальный вес представителей октябристской среды на местах, боялись ссориться с ней, отбросить ее в оппозицию. Тогда Марков в виде уступки этим соображениям милостиво согласился уступить октябристам „одно место в президиуме, — например, должность младшего товарища председателя“, но и это при условии, что они будут поддерживать политику правых.

После этой речи я больше в этом клубе никогда не был. Агрессивность лидеров крайней правой ярко отличалась от спокойной и умеренной точки

зрения, которую проявляли лидеры октябристов. Последние выставили только одно требование, именно, — они хотели иметь в своих руках пост председателя Государственной Думы, чтобы влиять чрез него на общую политику. Это желание было с презрением отвергнуто правыми, которые считали себя хозяевами положения. Но они просчитались: когда началась запись в партии, то большинство правого блока оказалось в октябристском списке. Правда, на первое время люди записывались только как „примыкающие” к нашей фракции, но для выбора президиума это не меняло положения: наша фракция оказалась накануне выборов президиума более многочисленной, чем правые, именно — нас было 165—168 человек против 145—150 правых. Притом мы занимали центральное положение, что давало возможность выбирать союзников на обоих флангах. Сперва правые уперлись, не шли ни на какие соглашения, уступки. Они требовали себе оба главнейших места в президиуме — председателя Государственной Думы и ее секретаря, в руках которого по закону была вся канцелярия Думы, который притом выбирался на все 5 лет деятельности этого учреждения.

Соглашения не последовало, наступил канун выборов. Левые, конечно, узнали о происшедшем в правом блоке расколе, о сваре из-за председательского места. Они решили использовать положение, углубить раскол, разъединить нас и правых раз навсегда. Они сообщили нашему бюро, что готовы поддержать кандидатуру нашего председателя, если только у нас произойдет разрыв с правыми. Как только это стало известно, мы заговорили с правыми другим языком: отпало опасение, что Государственная Дума не сможет выбрать даже своего председателя, которого придется тогда выбирать относи-

тельным большинством. Мы ультимативно обратились к лидерам правого крыла с предложением дать им три места в президиуме, в том числе место секретаря, при условии, что они согласятся поддержать нашего кандидата в председатели Государственной Думы.

Во все время этих нудных переговоров, при которых лидеры правых проявили максимум возможной арrogантности, Столыпин не оставался безучастным. Третья Государственная Дума была созвана по его закону, в ее судьбе он был очень заинтересован, он понимал, что ее крушение есть начало ликвидации манифеста 17 октября и нового строя. Он ни на минуту не мог допустить, чтобы „Государственная Дума 3-го июня”, как ее уже называла левая пресса, могла начать свою работу с выборов, проведенных в блоке с левыми против правых. Это было бы крушением всей его политики. И он немедленно вмешался. Это облегчалось тем, что и у нас и у правых были лица, которые буквально висели на телефонном проводе, связывавшем наши клубы с кабинетом Столыпина. Среди правых сразу обозначилось два течения: одно крайнее, возглавляемое Марковым; другое более умеренное, во главе коего встали Балашев, гр. Вл. А. Бобринский и Крупенский. Эти люди были как раз наиболее близки к председателю Совета Министров, на них он и нажал. Они, в свою очередь, сумели доказать своим софракционерам, что все равно место председателя Государственной Думы обеспечено октябристам, что дальнейшее упорство только приведет к образованию октябристско-левого большинства, ответственность за которое падет на их непримиримость. Наконец, они указывали, что нашим кандидатом является Хомяков, личность коего имела большой моральный вес, который был приемлем даже для

многих правых, в особенности для духовенства. Была вероятность, что даже при разрыве с октябристами очень многие батюшки будут, вопреки директивам фракции, голосовать за Хомякова, что приведет лишь к конфузу лидеров их партии. Эти соображения привели к тому, что среди ночи, когда поздно ложившийся Петербург уже мирно спал, состоялось наконец соглашение с марковцами. Они получили три места в президиуме, мы два, но Хомяков был намечен как единственный кандидат в председатели.

Марков и его сотоварищи подчинились, но затаили злобу. Они поняли, что от решения судеб русского народного представительства они отстранены, что дирижерская палочка не в их руках. Они решили сосчитаться при первой возможности. Таким удобным случаем явились прения по ответному адресу и формуле перехода по декларации правительства.

Первая Государственная Дума не выполнила обязанности выразить Царю чувство благодарности за дарование народу право участия в законодательстве, за введение в России конституционной формы правления, за реализацию давнишней мечты русского общества, которая еще всего десять лет назад считалась „несбыточными мечтаниями”. Когда теперь эта мечта осуществилась, первое народное представительство не нашло нужным сказать русское „спасибо”. Оно сказала другое — „мало”.

Третья Государственная Дума решила начать свою работу с того, что не было сделано ее предшественницами, сказать Царю это „спасибо”. Но при обсуждении текста, а равно при прениях по декларации Столыпина, которая произвела на всех — как на его союзников, так и на его врагов — очень сильное впечатление, мы, как истинные русские,

перессорились, разъединились, ни до чего не могли договориться. Поводом ссоры с правыми были слова „конституционное правление”. Столыпин выразился осторожнее — „представительный строй”. Мы не считали нужным усваивать такую китайскую формулу, высказали прямо, что основные законы устанавливают у нас конституционную форму правления. Это слово было ввернуто и в ответный адрес, и в формулу перехода. Левые вообще были против всякого адреса, тем более они были против формулы перехода, в общем выражавшей одобрение деятельности правительства и его декларации, подчеркивавшей наши симпатии к Столыпину. Правые протестовали против замены „самодержавного правления” понятием о конституционном строе.

Они решили объединиться с левым крылом, чтобы провалить все, что будет нами внесено. Положение было трудное. С вопросом об ответном адресе Государю мы кое-как выкарабкались, благодаря тому, что кадеты, а за ними весь левый сектор, не желавшие вотировать наш адрес, решили просто воздержаться, не хотели проваливать обращения Государственной Думы к Царю. Это обстоятельство обеспечило нам возможность провести выработанную нами форму адреса, к которой, однако, правые не присоединились. Они составили свою собственную редакцию адреса, которую и препроводили отдельно Государю после того как наш текст был одобрен голосами октябристов и вновь народившейся в этот момент фракции умеренно-правых.

В образовании этой фракции сыграли роль два обстоятельства. Среди правых было много людей, прошедших под флагом этой партии, но в сущности очень умеренных, пришедших в Государственную Думу не для того, чтобы ее дискредитировать, а чтобы использовать новое учреждение для удов-

летворения ряда местных интересов. Особенно много депутатов так настроенных дали западные губернии, где русское большинство вело тяжелую борьбу с сильным польским элементом за расползчивание края. Они нуждались в опоре правительства, искали помощи в русском народном представительстве. В то же время они были близки Столыпину, готовы были всячески поддерживать его политику. Они были возмущены тактикой Маркова и Пуришкевича, отказ от принятия нашей формы адреса их окончательно укрепил в мысли освободиться от слепой партийной дисциплины, безоговорочного подчинения директивам лидеров крайней правой. Столыпин этим воспользовался, он их убедил в необходимости формального раскола правого крыла. Он прекрасно понимал, что Государственная Дума без прочного большинства работать не может, и стал действовать, чтобы помочь ей найти это большинство. Умеренно-правые представляли тот элемент, с помощью которого он надеялся достичь своих целей. Отношение правых к ответному адресу было использовано до дна, правые раскололись. Правда, у нас на первых порах вместе с умеренными не было еще большинства, однако одно существование в центре Государственной Думы прочного блока из 200 с лишком человек давало возможность в будущем набрать недостающее число голосов, т. к. в Думе все еще было некоторое число депутатов, кочевавших из партии в партию, все еще не успевших самоопределиться.

Однако к моменту голосования мотивированной формулы перехода к очередным делам, определявшей отношение Государственной Думы к декларации правительства, оказалось, что у нас с умеренными нет большинства. Формулы, внесенные другими фракциями, были отклонены, но когда приступили

к голосованию нашей формулы, она тоже торжественно провалилась, не хватило нескольких голосов. Получился форменный конфуз, первый политический акт Государственной Думы вышел комом.

Левая пресса ликовала. Казалось несомненным, что „Дума 3-го июня” выявила свою беспомощность, свою неработоспособность, доказала свое моральное бессилие. Разрыв между октябристами и правыми стал совершившимся фактом. В своем восторге левые называли Третью Государственную Думу — „Дума без формулы”.

Ликовали и правые — теперь они были уверены, что нам придется капитулировать, установить работу по соглашению с ними, что дало бы им возможность решительно влиять на политику Государственной Думы. Но и те и другие ошиблись.

Столыпин усилил свою работу в смысле организации прочного большинства; благодаря своему громадному престижу и влиянию среди депутатов, он ускорил процесс распада фракции правых, переход от нее к умеренным ряда депутатов. Постепенно образовалось небольшое, но прочное большинство — блок октябристов (которых тогда многие называли, по примеру германских партийных кличек, национал-либералами) с умеренными, кои приняли название националистов.

Конечно, в этом процессе сыграл большую роль такт, проявленный в первые месяцы работы Думы лидерами октябристов, но достижение столь быстрого результата надо было приписать еще двум факторам: прежде всего грубой прямолинейности и крайностям лидеров правой фракции и настойчивой политике премьера, который тут показал себя и другом народного представительства, и человеком, понимавшим сущность работы законодательного учреждения.

С этого момента работа нового законодательного аппарата пошла гладко. Но с этого же момента началась неумолимая травля Столыпина правыми кругами, понявшими, что в его лице они имеют непримиримого врага в деле дискредитирования и ликвидации принципа народного представительства. Он встал на путь конституционного правления и потому являлся врагом, в борьбе с коим все средства были хороши.

Самым сильным оружием Государственной Думы в борьбе за укрепление конституционного строя в России было ее право рассмотрения и ветоирования бюджета. Возможность разрешать, сокращать или отклонять кредиты давала ей неоспоримое влияние на политику и деятельность отдельных министерств, постоянно нуждавшихся в увеличении средств на работу их органов на местах. И Дума широко пользовалась этим обстоятельством.

Правда, еще раньше чем была выбрана Бюджетная комиссия Третьей Государственной Думы, и среди депутатов, и среди общества, и в прессе было широко распространено мнение, что бюджетные права Государственной Думы так сильно урезаны, что самовластие бюрократии прочно забронировано от воздействия народного представительства, что последнему предоставлена лишь видимость бюджетного права, что самодержавное правление у нас по существу не изменилось, т. к. Государственная Дума лишена самого важного права народного представительства, именно — права располагать государственным кошельком.

Вне сомнения, кое-что из этих жалоб и обвинений власти было справедливо, но только кое-что и далеко не все.

Если власть не была отдана на усмотрение народного представительства, еще совершенно неопытного в деле управления важнейшими интересами страны, то, в свою очередь, и Государственная Дума не была безоружна, если бы власть решила с нею не считаться. Большой процент кредитов, исчисляемых в сметном порядке, быстрый темп роста расходов во всех отраслях деятельности правительственного аппарата заставляли министров искать контакта с Государственной Думой, если только они не мирились с мыслью заморозить кредиты своего ведомства на достигнутом уровне.

Отсюда большой моральный и политический вес Бюджетной комиссии, громадная роль, сыгранная ею в думский период русской истории как в деле укрепления конституционного строя, так особенно в деле упорядочения целого ряда сторон государственного управления.

Она стала тем политическим центром, незримое влияние коего чувствовалось далеко за пределами Таврического Дворца, к голосу коего прислушивались и министерские канцелярии, и земские собрания, и обыватели медвежьих углов страны. Конечно, такое значение она приобрела не сразу и не только в силу одних прав, предоставленных Государственной Думе по закону о бюджетных правилах. Громадную роль в этом сыграли упорная, систематическая работа, политический такт и государственный инстинкт, проявленные ею в период двух последних Дум.

Последнее обстоятельство в большой мере зависело от личных свойств ее руководителей, ее президиума и докладчиков, особенно же ее председателя, профессора Алексеенко.

Нас в Бюджетной комиссии было 66 человек, представителей всех думских фракций. Такое мно-

гоголовое и разномыслящее собрание людей могло планомерно и целесообразно работать только при условии организации и направления всей его деятельности опытным, тактичным и авторитетным руководителем. Такого руководителя мы нашли в лице депутата от Екатеринославской губернии М. М. Алексеенко. Он был в одно и то же время культурным сельским хозяином, передовым земцем и профессором финансового права, таким образом, в нем счастливо сочетались психология осторожного, расчетливого производителя ценностей, привычка общественной работы на земской ниве; наконец, большой научный багаж теоретика финансовых вопросов.

Если прибавить к этому большой житейский такт, громадную выдержку, усидчивость в работе и большую чуткость ко всему, что касалось прав народного представительства, то немудрено, что он скоро приобрел громадное влияние на членов Бюджетной комиссии, не только на своих сочленов по фракции, но даже на оппозиционеров.

Это обстоятельство давало ему возможность не только всегда с успехом отстаивать права Государственной Думы в бюджетном вопросе, но и часто играть большую роль при решении крупных вопросов, стоявших перед Думой.

Под его председательством, по существу под его направляющим руководством, Бюджетная комиссия никогда не сходила с раз избранного пути: мы пришли сотрудничать с правительством, со Столыпиным, в деле упорядочения и реорганизации государственного управления, а равно в стремлении развить и укрепить конституционный строй в России, поэтому Бюджетная комиссия стремилась работать совместно с правительством, не вызывать лишних с ним столкновений, если только само пра-

вительство не встанет на почву вражды к Государственной Думе, не начнет политику умаления ее прав. В то же время Бюджетная комиссия не отступала от возможности борьбы с отдельными министрами и министерствами, если последние не хотели считаться с справедливыми указаниями и пожеланиями комиссии, если они продолжали политику упорствования в старых ошибках и заблуждениях. Так было, например, в деле борьбы с морским министерством за реорганизацию его учреждений. Эта борьба, проведенная с большим упорством, несмотря на явную поддержку морского ведомства Государственным Советом, несмотря на моральное давление, кое оказывалось на Государственную Думу Высшей Властью в защиту интересов морского ведомства, кончилась отставкой двух министров, не сумевших наладить отношения ведомства с Думой, а равно полной реорганизацией ведомства при третьем министре, который при своем назначении получил совет „ладить”.

Однако и в этой борьбе Алексеенко умел ввести взаимные отношения в приличные, корректные формы, устранить излишнюю остроту, придать ей форму спора технического характера.

Такую же по существу реорганизационную работу выполнило под влиянием и давлением Государственной Думы ведомство путей сообщения в деле хозяйства казенных железных дорог. Когда мы собрались, казенные железные дороги имели большой дефицит, далеко не покрывали расходов по платежам, вызванным их сооружением.

Под воздействием Бюджетной комиссии, главным образом ее докладчика Герценвица, началась систематическая работа по упорядочению этой отрасли государственного управления. Тут не было видимости той острой борьбы, как в случае с моря-

ками, но по существу происходило то же самое, та же настойчивая борьба за реорганизацию управления. Министерство скоро пошло навстречу Бюджетной комиссии, отношения не обострялись, а в результате дело было сделано: управление казенных железных дорог стало источником крупного дохода казны.

При рассмотрении смет отдельных ведомств комиссия не ограничивалась только финансовой стороной вопроса. Она старалась вникать в самую сущность деятельности соответствующего министерства, указывала на дефекты, которые, по ее мнению, там существуют, на изменения, кои ей желательны. Эти пожелания часто выражались в мотивированных формулах перехода к очередным делам, которые комиссия предлагала принять Государственной Думе. В большинстве случаев с этими пожеланиями ведомства считались, особенно в таких случаях, когда то или иное министерство добивалось серьезного увеличения сметы.

Правда, это происходило еще потому, что за все годы работы Бюджетной комиссии ее председатель умел находить поддержку министра финансов, одного из наиболее влиятельных министров вообще. Между Коковцевым и Алексеенко был постоянный контакт, у этих двух государственных людей было много общего, особенно во взгляде на методы управления нашими финансами. В психике обоих было нечто общее — большая осторожность, расчетливость, любовь к законности.

Мне казалось, что они недолго любили друг друга, но очень ценили корректность установившихся между ними отношений. Министр финансов находил в председателе Бюджетной комиссии деятельного сотрудника в проведении той линии финансовой политики, которую он сам считал единственно пра-

вильной. Ведь у Государственной Думы было право инициативы в финансовых и бюджетных вопросах, ей так легко было бы встать на путь бюджетной демагогии, которая наблюдается даже в странах, имевших длительную практику парламентского строя. Тем более этого надо было опасаться у нас, где вообще искание дешевой популярности было в моде.

Несмотря на свою молодость, Государственная Дума никогда на этот путь не становилась. Алексеенко проводил решительно ту линию, что нам, комиссии, нельзя допускать увеличения кредитов, вносимых в смету правительством. Он всячески мешал попыткам подобного рода новаций, находил, что это привело бы к расстройству финансов. Если и были исключения для школьного дела, то и это делалось не без предварительного сговора с министром финансов, притом лишь тогда, когда бюджет был уже по существу рассмотрен и было ясно, что достигнутые сбережения по другим статьям сметы дают возможность увеличить данный кредит без нарушения бюджетного равновесия.

Если большинство министерств стремилось жить в мире и согласии с Бюджетной комиссией, то все же нельзя не отметить, что были и такие министры, кои не скрывали своей к нам вражды. Они тем самым ставили крест на возможности роста бюджета своего ведомства. Единственным исключением было военное министерство, которое, несмотря на то, что Сухомлинов явно игнорировал Государственную Думу, получало все нужные на оборону кредиты. Но тут играл роль инстинкт государственного самосохранения, который заставлял нас ради спасения нации приносить в жертву не только наше самолюбие, но в известной мере престиж Государственной Думы.

Прямая задача Бюджетной комиссии — содействие укреплению финансов страны и особенно упрочнение бюджета — была в общем к началу войны выполнена.

Первый бюджет, который ей пришлось рассматривать, был внесен к нам с дефицитом в 200 млн. руб. Тщательная проверка отдельных смет дала возможность сделать сбережения на сумму около 55 млн. руб., которые, однако, тогда же целиком были направлены на приступ к осуществлению малой военной программы и на пополнение запасов Черноморского флота. Следующий бюджет (на 1909 г.) был сведен правительством в сумме около 10 млн. руб. Из Бюджетной комиссии он вышел полностью сбалансированным, даже с маленьким излишком доходов. Все остальные бюджеты вплоть до войны, несмотря на бурный рост расходов, всегда сводились с превышением доходов над расходами. Это дало возможность уменьшить в период работ Третьей Государственной Думы государственный долг на сумму, превышавшую тот заем, который ей пришлось вотировать для покрытия дефицита бюджета 1908 г. Сверх того к началу войны свободная наличность государственного казначейства превышала огромную для тогдашнего времени сумму в 500 млн. руб.

И все это было достигнуто почти без новых налогов, без переобременения населения налоговым прессом.

КОНФЛИКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ С МОРСКИМ МИНИСТЕРСТВОМ

Весною 1908 г. Государственная Дума отказала морскому министерству в кредитах на сооружение

четыре дредноута для Балтийского флота. Это решение произвело чрезвычайное впечатление, во-первых, потому, что это было первое резкое расхождение с правительством, притом на почве обороны страны, а во-вторых, всем было известно особое покровительство в деле судостроения, коим пользовалось ведомство в Царском Селе. Отсюда опасения, что отказ вызовет конфликт с короной.

Самый этот отказ в кредитах произошел так. При рассмотрении проекта сметы на 1908 г. мы нашли в ней громадный дефицит, причем никаких сумм не предполагалось отпустить на пополнение запасов армии, которая была разута и раздета, без нового оружия, с крайне ограниченным запасом патронов и снарядов, словом, по словам военного министра, небоеспособна. В то же время в смете имелись крупные кредиты на новое судостроение, именно — кроме сумм на продолжение постройки ранее начатых судов, уже устаревших типов, а именно двух броненосцев, двух крейсеров и двух заградителей для Балтийского флота и двух броненосцев для Черноморского, испрашивались кредиты на закладку четырех дредноутов на Балтике и пяти турбинных миноносцев на Черном море. Дредноуты должны были иметь 21000 тонну водоизмещения, 21 узел хода и вооружение из 12 двенадцатидюймовок*. Водоизмещение черноморских миноносцев — 750 тонн, скорость — 25—26 узлов, вооружение — 2 пушки среднего калибра. Сметная стоимость четырех дредноутов исчислялась в 84 млн. руб.

* Это были линейные корабли типа „Севастополь“, вошедшие в строй в 1915 г., два из которых — „Петропавловск“ и „Тангут“, переименованные в „Октябрьскую революцию“ и „Марат“, — приняли участие в обороне Ленинграда и Кронштадта в 1941—44 гг. — Прим. ред.

Прежде чем составить себе какое-либо суждение о предположенных ведомством мероприятиях, мы решили основательно изучить вопрос о положении дела в морском министерстве и о реформах, которые бы сделали невозможным повторение печальных обстоятельств, приведших нас к Цусиме.

Морское министерство пошло нам навстречу, оно устроило целый ряд совместных заседаний представителей ведомства с членами думской комиссии по обороне государства. Часть этих заседаний имела официальный характер и происходила в Таврическом Дворце, но чаще мы собирались в интимной обстановке на частных квартирах, у Милютина или кого-либо другого. Там моряки под руководством товарища морского министра Бострема давали нам подробные объяснения по интересовавшим нас вопросам, касавшимся как предполагаемой судостроительной программы, так и тех изменений в конструкции и службе ведомства, которые признавались необходимыми для блага флота. Нужно прибавить, что мы в этих частных беседах имели дело главным образом с чинами вновь созданного морского генерального штаба.

Все это была молодежь, недавние строевые офицеры, талантливые и страстно-нетерпеливые*. Они на собственной шкуре, что называется, пережили перипетии войны, ужас и позор поражения, часто —

* Среди молодых офицеров морского штаба с боевым опытом, участвовавших в работах комиссии Государственной Думы, был и тогда капитан I-го ранга Александр Васильевич Колчак, будущий Верховный Правитель в Сибири. Ему Н. В. Савич посвятил свою единственную (насколько нам известно) опубликованную статью: „Три встречи” (А. В. Колчак и Госуд. Дума). См. „Архив Русской Революции”, том X, сс. 169—174. — Прим. ред.

плена. У них было страстное желание увидеть возможно скорее возрождение родного флота и едва скрываемое негодование на те порядки, которые привели к поражению. Конечно, они имели задание доказать нам, что отпуск средств на немедленное сооружение дредноутов крайне необходим, и это обстоятельство мы учитывали. Но кроме этих официальных или официозных встреч с моряками, мы имели общение и с иными элементами флота.

Особенно много случаев бесед с моряками и слушающими ведомства было у меня и у Звегинцева, т. к. мы были докладчиками морской сметы в комиссиях бюджетной и по обороне государства. Тут с нами встречались люди, свободные от влияния и давления начальства. То были добровольцы-осведомители, которые рисковали своей карьерой, если бы начальство узнало про наши встречи. Их речи были более откровенными, их разоблачения не порядков ведомства более полные и неприкрытые. Они дополняли и расшифровывали то, что официальные представители ведомства обходили молчанием или ограничивались намеком.

Оба мы умели молчать, что скоро стало известным, привлекало доверие, уничтожало опасения за свою судьбу у осведомителей. Сведения потекли широкой струей, надо было их только тщательно проверять, так как они часто исходили от обиженных и оскорбленных.

Большое влияние имело одно обстоятельство. Тогда только что начал развиваться подводный флот.

Русские люди вообще склонны к увлечению, к фантастике. Тут создавалось новое оружие, еще не испытанное на войне. Старое морское оружие — броненосный флот — только что принес величайшее разочарование. Стоил он дорого, денег было крайне

мало. Как тут не соблазниться мыслью найти в новом оружии панацею от всех страхов за наше побережье. Особенно сильно увлечение это было у людей, чуждых морю. В то время военные тщетно умоляли об отпуске средств хотя бы на осуществление малой программы, но министерство финансов не нашло возможным что-либо внести в дефицитную смету. Совет Государственной Обороны под председательством В. К. Николая Николаевича еще недавно высказался против идеи постройки линейного флота, как непосильного по финансовым обстоятельствам до полного переустройства сухопутных военных сил. А тут предлагают новое оружие, — быть может, суррогат, но такой, который сделает пока что ненужными затраты нам непосильные и только мешающие усилению армии...

После основательного изучения вопроса мы убедились, что морское министерство физически не сможет начать постройку кораблей в ближайшем будущем.

Никакой сметы стоимости кораблей не было хотя бы уже потому, что ведомство не знало, что оно намерено строить, т. к. к составлению проекта кораблей еще не приступили, шли только споры о том, какие задания надо поставить для будущего конкурса на проект. Оно еще не строило турбинных судов, не имело понятия, во что такая постройка может обойтись, поэтому исчисленная в смете стоимость кораблей в 84 млн. руб. была чистой фантазией. Однако можно было сказать, — что перерасход неизбежен, и очень большой. Постройка проектировалась на заводах, для того не приспособленных, их стапеля были слишком малы для таких больших кораблей, оборудование недостаточно, частью его не было вовсе. Так, Обуховский завод, которому предстояло соорудить новые двенадцати-

дюймовки в 50 калибров, не имел для того станков, кои надо было заказать за границей и ждать их изготовления года полтора. Переоборудование заводов требовало много времени и денег, которых ни у них, ни у ведомства не было, как не было и проекта переоборудования.

Ведомство и его заводы запутались в долгах. Уже давно оно усвоило систему использования денег, отпущенных на постройку боевых судов, на сооружение других судов, на которые оно не рассчитывало получить кредитов. При этом оно входило с представлением в высшую инстанцию о том, что от постройки разрешенных судов у него должны получиться значительные прибыли, которые оно и просит направить на постройку такого-то корабля, не предусмотренного программой. Затем оказывалось, что никакой экономии от постройки разрешенных программой судов не получалось, а заложенные небоевые суда строились. Естественно, накапливалась задолженность заводам, которые, в свою очередь, писали и переписывали векселя в банках. Экономии при постройках быть не могло, причин тому было много, но главнейшая состояла в том, что во время самой постройки по несколько раз менялись задания, приходилось переделывать сделанное или строить вновь ту или иную деталь взамен измененной. Так, помнится, броневые рубки кораблей типа „Павел I” переделывались 9 раз. Естественно, это сильно удорожало постройку и ее чрезвычайно замедляло, почему суда строились по шесть и более лет. Эта система не была оставлена и после войны, мы застали строившимися транспорты „Вайгач” и „Таймыр”, канонерки „Карс” и „Ардаган”, на которые отпусков из казны не испрашивалось. Ясно, что эта система должна была привести к финансовому краху. Теперь он был близок, у заводов не было

больше денег, а им надо было платить по векселям, хотя бы частично. Идти в Совет Министров и признаться, что ведомство много лет скрывало истину, — морское министерство не хотело. Оно предпочитало вертеться, как белка в колесе, задыхаясь в тисках долгов, но их скрывать, — видимо, рассчитывая получить под постройку новых кораблей большие авансы и извернуться.

Уже одно это не располагало комиссию к отпуску кредитов. Но было еще кое-что другое.

По-прежнему во главе многих ответственных органов ведомства стояли старые работники, уже раз приведшие флот к разгрому. Например, начальником артиллерийского отдела Главного управления кораблестроения мы застали генерала, игравшего еще до войны большую роль в делах этого учреждения. Он считался талантливым морским артиллеристом, но, к несчастью для флота, был изобретателем. Как все неудачные изобретатели, он не признавал других усовершенствований, кроме своих.

В результате наш флот в японской войне имел пушки, уступавшие японским в скорострельности и в дальности, наши снаряды, короткие и легкие, были снаряжены ничтожным количеством бездымного пороха, тогда как у японцев они имели громадный заряд сильнодействующего взрывчатого вещества. Несмотря на эти былые дефекты артиллерийского отдела, этот генерал опять должен был вооружать новые дредноуты, если бы мы дали деньги на их постройку. Было ясно, что все в ведомстве остается по-старому, оно опять подготовит нам Цусиму.

Мы решили дать ему бой, нанести моральный удар по „Шпицу”*, заставить правительство, премье-

* Условное название Морского министерства, находившегося в здании, увенчанном „Адмиралтейской иглой”.

ра, самую Верховную Власть обратить внимание на то, что делается в морском министерстве.

Мы, члены комиссии, сознавали, что это решение возбудит против нас сильные круги, что сам Царь воспримет этот отказ как удар по престижу. Ведь все знали, что только под его давлением правительство согласилось включить в смету кредиты на дредноуты. Но это нас не остановило.

Одни видели в этом отказе единственную возможность провести в жизнь реформу ведомства, другие шли дальше. Их мысль резюмировал Гучков, когда при обсуждении этого вопроса в бюро фракции он сказал: „Нужно сломить острие самодержавия”. Как бы то ни было, комиссия в отпуске кредитов на постройку дредноутов отказала, сохранив в смете все суммы на достройку ранее начатых судов и на закладку черноморских миноносцев.

Это решение вызвало чрезвычайный эффект.

Государственная Дума была еще в моде. Ее до сих пор упрекали в излишней щедрости на оборону государства, а тут последовал отказ, да еще с резкими суждениями по адресу ведомства. Столыпин не остался бездейственным, приехав на специально устроенное заседание комиссии в сопровождении высших представителей морского министерства. Он произнес блестящую речь в защиту интересов ведомства, уверял, что все его дефекты будут исправлены, лишь бы оказали ему доверие авансом. Он был красноречив, но не убедил нас. Окончательно погубил дело ведомства адм. Диков. Это был почтенный, но очень старый моряк, совершенно неприспособленный к роли министра при новом строе. Он начал свою речь с опровержения указаний на дефекты ведомства, — по его мнению, все там обстояло благополучно. Заводы были-де вполне приспособлены к немедленной и успешной постройке дред-

ноутов. Мы уже имеем два броненосца на Балтике, строим еще два, равным образом строятся четыре броненосных крейсера. Когда будут готовы эти четыре дредноута, они вместе с другими судами составят полноценную эскадру, которая будет плавать и учиться совместно.

После этого несколько наивного выступления участь кредитов была решена, всякие колебания отпали. Дума в общем собрании в отпуске кредитов отказала, что называется, с „надданием”, ведомство пережило горькие минуты. Оно говорило, что мы заставили его пережить вторую Цусиму.

Хотя Государственный Совет, опираясь на 13-ю статью сметных правил, этот кредит восстановил, но адм. Диков, тогда морской министр, не пожелал оставаться у власти, вести борьбу с новым законодательным учреждением, и вышел в отставку. На его место был назначен вице-адмирал Воеводский.

Мы, думцы, совершенно не знали нового министра, но его молодость, репутация щепетильно-честного человека, наконец, принадлежность до недавнего прошлого к составу плавающего флота, давали надежду на коренное изменение курса ведомства, на проведение требующихся обстоятельствами серьезных реформ „под шпицем”, на предпочтение в будущем интересов боевого флота над береговым.

Многое, очень многое, зависило от наших первых с ним встреч.

Как раз в это время ведомство внесло законопроект об отпуске в спешном порядке сверхсметного кредита в сумме 8,5 млн. руб. на пополнение запасов Черноморского флота.

Зимою турки как-то подозрительно зашевелились, ясно было, что кто-то их толкает. Военное ве-

домство приняло на Кавказе ряд предупредительных мер вплоть до переброски скорострельной горной артиллерии с Дальнего Востока. Черноморский флот тоже получил приказание быть готовым в любой момент начать военные действия. Вот тут-то и оказалось, что он к этому не готов. Запас боевых припасов был далеко не полный, притом состоял из устаревших снарядов. Не хватало даже 12000 комплектов обмундирования против предусмотренного мобилизационным планом количества. Для приведения всего этого в порядок испрашивался настоящий кредит.

Законопроект этот был легко одобрен обеими комиссиями Государственной Думы. Конечно, во время его обсуждения были ссылки на то, что Дума была права, обвиняя ведомство в пренебрежении боевыми интересами флота, т. к. только чрезвычайные обстоятельства заставили его признать то, что оно скрывало при рассмотрении сметы.

Я в качестве докладчика составил текст законопроекта для общего собрания Государственной Думы, притом в выражениях крайне осторожных. Не было указания ни на причины внесения законопроекта, ни на подразделения потребностей, на кои деньги отпускаются, — словом, ничего такого, что дало бы возможность постороннему человеку понять сущность проектируемых мероприятий.

Однако, частью из лишней щепетильности, частью из чрезмерной вежливости, я послал текст законопроекта морскому министру с просьбой сообщить, нет ли с его стороны возражений по тексту этого секретного законопроекта. Бюджетная комиссия была убеждена, что возражений быть не может, что я зря послал проект текста. Каково же было наше удивление, когда на другой день министр вернул проект, из коего все, решительно все, было

вычеркнуто. Сохранились лишь две фразы: первая, гласящая, что ведомство испрашивает 8,5 млн. руб. на нужды Черноморского флота, и последняя, в коей указывалось, что Бюджетная комиссия просит Государственную Думу эту сумму отпустить. В личных объяснениях министр пояснил, что указание на пополнение запасов флота может быть истолковано неблагоприятно для ведомства.

Создавать конфликт по такому поводу мы не хотели, я просто отказался от доклада, новый докладчик не был связан решением министра по тексту доклада, он несколько изменил первоначальный текст и внес в Думу без сообщения его морякам. Вопрос был исчерпан. Молодой министр торжествовал: он получил от Думы сверхсметный кредит.

Но у нас он свой первый экзамен не выдержал. Мы поняли, что главной заботой нового министра будет замазывание теневых сторон работы его учреждений, а отнюдь не борьба против них, что по-прежнему интересы „шпица” будут стоять выше нужд плавающего флота, а главное, мы потеряли веру в его искренность.

Дальнейшие наши встречи укрепили первое отрицательное впечатление. Борьба между Государственной Думой и министерством за реформы ведомства продолжалась. Мы вычеркнули кредиты на дредноуты из сметы 1909 и 1910 гг. Конечно, Государственный Совет их восстановил. Но тут получилось нечто, чего ни он, ни министерство не предвидели.

Именно, в смету 1910 г. министерство внесло смехотворно малую сумму на дредноуты. Вероятно, это было сделано потому, что фактически к постройке еще не приступали, кредиты 1908 и 1909 гг. оставались неиспользованными, а может быть, министерство надеялось, что Дума, только что отпустившая кредиты на переоборудование заводов ве-

домства, не рискнет отказать в столь малой сумме (кажется, всего 4 млн. руб.) на самые корабли.

В таком случае она дала бы принципиальное согласие на их постройку и была бы связана. Но этого не произошло, Бюджетная комиссия исключила этот кредит. Отныне Государственный Совет мог бы восстановить сумму не свыше 4 млн. руб., т. е. кредит совершенно недостаточный, чтобы можно было строить корабли без согласия Государственной Думы. Ведомство попало в ловушку, которая предназначалась для нас.

Столыпин созвал у себя на Фонтанке совещание наиболее влиятельных членов комиссий по обороне государства и бюджетной, принадлежавших к центру Государственной Думы, с несколькими министрами. Помню в том числе — министров военного, морского, финансов и Государственного Контролера.

Столыпин выступил в защиту ведомства и необходимости отпустить ему деньги на постройку кораблей, которые в ближайшем будущем станут основным ядром сил, защищающих подходы к столице с моря. Он указывал, что по крайней мере в области технической ведомство теперь подготовлено к быстрой и планомерной постройке судов, что многие реформы, коих добивалась Государственная Дума, выполнены.

Мы возражали, в свою очередь переходили в наступление, обвиняли ведомство в нежелании быть искренним, в стремлении вводить в заблуждение не только думцев, но и самих министров. Как на пример докладчик указал на факт, что ведомство, испрашивая кредиты на постройку судов, прекрасно знало, что оно их немедленно строить не будет, да и не может, что и было доказано потом фактом внесения законопроекта об отпуске более девяти

миллионов на переустройство заводов, без чего оно строить не могло. Между тем оно надеялось, получив деньги, как-то изворачиваться, чтобы скрыть факт его большой задолженности, которая достигает громадной суммы в 44 млн. руб.

Это заявление произвело известное впечатление на членов правительства. Столыпин обратился к Харитонову с просьбой дать разъяснения. Тот ответил, что ничего не знает, в первый раз слышит. Тогда премьер запросил адм. Воеводского. Адмирал смутился. Точность цифры доказывала, что докладчик имеет сведения из первоисточника, от управлений самих морских заводов. Поэтому он ответил неопределенно, что эта сторона вопроса лучше известна товарищу министра адм. Григоровичу, стоящему во главе технических сил ведомства. Столыпин обратился за разъяснениями к Григоровичу. Настал животрепещущий момент. Мы знали, что адмирал рисковал всей своей карьерой, если он скажет правду, выдаст тем секреты ведомства, которые тщательно скрывались от всего мира. С другой стороны, он считался у нас искренним человеком, не склонным втирать очки. Как сейчас помню, как поднялся этот высокий уже седой адмирал и заявил, что долги есть, что точной суммы их он без справки сказать не может, но что цифра, указанная докладчиком, близка к действительности.

Если бы разорвалась бомба, она, вероятно, не произвела бы большего эффекта. Сразу, в нескольких словах, было вынесено оправдание поведению Государственной Думы и осуждена политика ведомства, направленная к скрыванию истины.

Совещание было скомкано, премьер нас быстро отпустил. Мы уходили, сознавая, что Григорович сломал свою карьеру, но у нас, в нашем мнении, он экзамен выдержал. Отныне мы знали, что это за

человек, что его слову можно верить, что он не ставит свою карьеру выше правды и пользы дела*.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЕ АДМИРАЛА ГРИГОРОВИЧА МИНИСТРОМ

В конце 1910 г. было достигнуто соглашение с правительством, в силу которого мы обязались сделать все возможное, чтобы провести кредиты на достройку балтийских кораблей и на усиление Черноморского флота. Несмотря на это, отношения между Государственной Думой и морским министерством оставались натянутыми, взаимного доверия не было, конфликт был замазан внешне, но не разрешен по существу. Огонь тлел под пеплом, в каждую минуту пламя могло вырваться наружу — и тогда прощай с трудом достигнутое соглашение... Как раз оно совпало с моментом, когда подошло в Государственной Думе рассмотрение сметы морского министерства. Последнее знало, что оно опять будет мишенью яростных нападок со стороны части членов Думы. Вместе с тем оно знало, что представ-

* Речь идет о выдающемся военном и государственном деятеле, адмирале Иване Константиновиче Григоровиче. Командир броненосца „Цесаревич” и герой обороны Порт-Артура, он стал товарищем морского министра с 1909 года. С 1911 по март 1917 г. — морской министр, под руководством которого были осуществлены малые и большие строительные программы Черноморского и Балтийского флотов. Кандидат в премьеры в 1916 году, поддержанный партиями „Прогрессивного Блока”. Неопубликованные мемуары хранятся в ЦГАВМФ. Адмирал Григорович скончался во Франции 3 марта 1930 года, и похоронен в Ментоне, неподалеку от Ниццы. — Прим. ред.

ленный особой комиссией доклад являлся документом строго секретным, неизвестным думцам.

Вот тут молодой морской министр сделал громадную психологическую ошибку, которая чуть не погубила все с таким трудом налаженное дело возрождения флота и которая во всяком случае стоила ему министерского портфеля.

В докладе особой комиссии, назначенной Высочайшим приказом, имелось очень много материала, всецело подтверждающего обвинения Государственной Думы. Это касалось и технической постановки дела и существовавшей неразберихи в денежных вопросах. Но подтверждая ряд подлежавших исправлению дефектов, комиссия считала своим долгом отметить, что прямых хищений или злоупотреблений на денежной почве она не могла констатировать.

Вот этой фразой об отсутствии указаний на воровство или денежные злоупотребления и воспользовался морской министр, которому удалось добиться издания Высочайшего манифеста с выявлением особого удовольствия Государя по поводу свидетельства комиссии о том, что ею не обнаружено случаев денежного злоупотребления в ведомстве. По тексту манифеста выходило, что все под „спицей” благополучно, что все к лучшему в этом лучшем из министерств, что в результате обследования оно получает Высочайшую благодарность.

Сразу стало известным, что текст этот выработан в министерстве, что о нем до опубликования не знали ни правительство, ни члены Особой следственной комиссии. Велико было раздражение в Думе, но не менее возмутились против министра и члены комиссии — ведь со стороны можно было подумать, что они составили заведомо лживый вклад, скрыли правду от Государя, вводили в заблуждение общество.

Их раздражение выявилось в том, что на другой же день многие из нас, в том числе даже члены оппозиции, получили оттиски секретного доклада комиссии.

Мы убедились, что доклад этот, написанный в благожелательных для ведомства тонах, содержал много правды, всецело подтверждал многие упреки Государственной Думы — словом, по существу был осуждением, и очень тяжелым, бывшей работы ведомства.

Раздражение, направившееся сперва против ведомства вообще, очень скоро обратилось лично против министра, окончательно провалившегося в нашем мнении.

Наступил день обсуждения в Государственной Думе сметы морского министерства. Ко мне подошел деп. Челноков (партии кадет) и попросил указать, какие цифры отдельных параграфов морской сметы можно еще так сократить, чтобы Государственный Совет не мог восстановить этих сокращений.

Я составил список возможных сокращений, но указал, что Бюджетная комиссия их не предусматривала, притом же они будут резать флот по живому месту.

Челноков объяснил мне, что среди членов Думы появилась мысль сделать внушительную демонстрацию против министра, добившегося реабилитирующего ведомство манифеста. Под поправкой этой подписалось очень много депутатов всех фракций, кроме крайних правых. У нас был обычай, что Государственная Дума не делала сокращений цифр, которые были одобрены Бюджетной комиссией. В данном случае этот обычай был нарушен, ко мне обратился председатель Бюджетной комиссии и от имени ее президиума просил не возражать против

предложенной поправки. Я так и сделал, после чего она была принята, из сметы было вычеркнуто несколько миллионов рублей. Это было явной демонстрацией, притом в форме совершенно небывалой. Вместе с тем это было предостережением по адресу не только ведомства, но и правительства вообще: ведь если Государственная Дума вопреки двум своим комиссиям (по обороне государства и бюджетной) вычеркнула кредиты, ими одобренные, то отпадала, казалось, надежда, что она согласится принять законопроекты, оправдывающие условные кредиты на постройку dreadnoughtов.

Словом, эта демонстрация и среди публики, и среди правительства произвела впечатление. Понял это и сам министр. По крайней мере при первой же встрече со мной он сказал: „После того, что произошло, совместная работа становится невозможной”.

Я поднял перчатку и ответил: „Совершенно верно, я того же мнения, кому-то надо уходить для блага флота, или нам, или вам”.

Министр ничего не ответил.

Прошло несколько дней. Однажды утром меня подозвали к телефону, говорил товарищ морского министра, адм. Григорович. Он сообщил нам, что адм. Воеводский подал в отставку, которая принята; временно, до назначения нового министра ему, как товарищу министра, поручено управление ведомством, почему он и вызвал меня, чтобы условиться о дне рассмотрения какого-то вопроса, касающегося ведомства.

За кулисами, как всегда, начались поиски кандидата в министры, привычные в таком случае интриги. Сразу выдвинулись две кандидатуры: одним кандидатом был кн. Ливен, его лансировали от имени плавающего флота, почему симпатии наши были

на его стороне, хотя почти никто его не знал. Другим кандидатом был адм. Григорович, которого поддерживал Нилов и многие высшие чины министерства.

Как раз в этот момент председатель Государственной Думы имел очередной доклад в Царском, причем разговор, естественно, касался последних событий в Думе со сметой морского министерства. В своем докладе председатель остановился на оценке, которую встречают в Думе те или иные кандидатуры, причем не скрыв, что плавающий состав очень хвалит кн. Ливена. Государь не единым движением, ни единым словом не выдал, что им уже принято решение по этому вопросу.

Кажется, через день утром меня опять вызвали из морского министерства к телефону, причем на этот раз офицер сказал: „Господин морской министр желает с вами говорить”. Я тотчас понял, что назначение уже состоялось, что назначен именно Григорович.

Действительно, через несколько мгновений я услышал голос Григоровича, который сообщил, что он только что вернулся из Царского, что Государь назначил его морским министром, имел с ним длинный разговор и, прощаясь, сказал: „Прошу вас ладить с Думой”. Вот последнее он и поторопился мне передать и просил помочь ему наладить отношения.

Я искренне его поздравил с высоким назначением и прибавил, что, если он и впредь будет ставить интересы боевого флота выше ведомственных и береговых, то наши отношения очень скоро сами собой примут характер тесного сотрудничества. Так оно и вышло.

Через несколько дней Государственная Дума приняла три законопроекта: первый отпускал средства на постройку четырех балтийских линейных кораб-

лей, второй касался отпуска средств на усиление Черноморского флота и третий разрешал кредиты на ликвидацию задолженности морского министерства. В общем получалась весьма внушительная сумма, поступившая в распоряжение нового министра.

Таков был первый дебют Григоровича в Государственной Думе. Интересно отметить при этом маленькую подробность прохождения этих законопроектов в общем собрании. Оппозиция вообще, в частности кадеты, были всегда против ассигнований на флот. Но когда дело дошло до обсуждения кредитов на черноморские корабли, на кафедру возшел Милюков — не для того, чтобы оспаривать ассигнование, напротив, он его всецело поддерживал, — но чтобы прочесть ведомству нотацию за то, что из-за его медлительности и непредусмотрительности наши черноморские дредноуты будут иметь пушки меньшего калибра, чем турецкие.

Новые взаимоотношения Государственной Думы с ведомством вскоре получили еще другое подтверждение.

Собралась согласительная комиссия членов Государственного Совета и Государственной Думы по бюджетным разногласиям между палатами. Когда дело дошло до морской сметы, то представители Государственного Совета считали, что положение их безнадежно, ведь 13-я статья сметных правил была на нашей стороне. Их докладчик, адм. Бирилев, все же защищал идею восстановления кредитов, исключенных в порядке поправки Челнокова. Каково же было их изумление, когда докладчик Государственной Думы предложил восстановить значительную часть этих кредитов. Конечно, они поспешили согласиться на все его предложения. Восстановлено было кредитов на довольно большую сум-

му, в том числе на перевооружение и перебронирование старого корабля „Три Святителя”.

После заседания адм. Бирилев высказал мне свое удивление по случаю нашей уступчивости, особенно в отношении перестройки старых кораблей.

Я ответил, что, если в 1914 г. нашим старикам, быть может, придется бороться с новыми судами турок, тогда всякая посуда будет на счету, лишь бы она была сносно вооружена.

К моменту рассмотрения в думских комиссиях сметы морского ведомства за 1910 г. среди членов Государственной Думы поползли тревожные слухи о том, что турки решили принять меры к срочному усилению своего флота. Для всех было ясно, что кто-то работает за их спиной, что вряд ли сами они решились бы на такие затраты. Они уже ранее купили два старых немецких корабля, но эти суда можно было рассматривать только как учебный отряд, на котором они намерены подготовить экипажи для судов, о постройке которых теперь заговорили.

Слухи эти внесли в наши ряды большое волнение. Из постоянного общения с военными мы знали, что наш план войны построен на предположении, что наш Черноморский флот является господствующей силой на юге, что на нем лежит забота о защите берегов и сообщений по морю.

Мало того, он должен был настолько там доминировать, чтобы быть серьезной угрозой для турок в смысле возможности перенесения борьбы, в случае нужды, на их собственные берега. Это и только это могло бы удержать Турцию от участия в войне на стороне наших возможных противников. Поэтому высшие представители военного ведомства, не скрывавшие своего отрицательного отношения к постройке дредноутов на Балтике, постоянно ука-

зывали нам, что на юге мы должны быть во что бы то ни стало сильнее турок на море. Эти идеи мы всецело разделяли.

При рассмотрении сметы нами был поднят вопрос о том, не пора ли в первую голову принять меры для срочного усиления Черноморского флота. Доходило до того, что кое-кем был поднят нереальный вопрос о желательности отбросить начатую постройку балтийских дредноутов, разобрать то, что там сделано, для того чтобы возможно скорее построить их на юге. Конечно, представители ведомства энергично запротестовали, но было ясно, что они были смущены. Вероятно, в этом они увидели попытку раз навсегда похоронить по первому разряду сооружение дредноутов на Балтике. Во всяком случае, они насторожились. Вместе с тем они дали нам успокоительные заверения, что наши страхи напрасны, что они тщательно следят за тем, что делается в Константинополе.

Прошло несколько месяцев. Мы кредиты на балтийские корабли опять исключили, конфликт углубился. Для ведомства создавалось трагическое положение: оно начало постройку кораблей без Государственной Думы и против нее, опираясь на помощь Государственного Совета. Но отныне последний мог в силу сметных правил в будущем восстанавливать на это дело только ничтожную сумму (4 млн. руб. в год). Ясно, что на это ничего не построишь. Столыпин опять вмешался. Поздней весной 1910 г. он созвал нас, членов президиума нашей партии и комиссий — по обороне государства и бюджетной, — у себя на даче на Елагином острове. При этом присутствовали министры финансов, контроля, военный и морской, а также начальник морского генерального штаба.

По обыкновению премьер был очень красноречив. Он взывал к нашему патриотизму, указывал, что время не терпит, что опасность осложнений велика. Говорил, что на эти суда ляжет трудная задача быть ядром обороны Финского побережья, что ведомство с технической стороны совершенно готово для успешной постройки, очень многие реформы, требовавшиеся Государственной Думой, уже осуществлены. Словом, это была прекрасная защитительная речь.

Мы защищались, как могли, перешли в наступление на морское министерство. Самым тяжелым нашим обвинением было утверждение, что ведомство продолжает быть неискренним, продолжает пренебрегать насущными интересами обороны ради ведомственного самолюбия, не позволяющего сознаться в ошибках. Как на пример последнего мы указали, что сейчас наиболее неотложной задачей его следует считать срочное усиление Черноморского флота, т. к. в связи с доходящими сведениями о заказе турками дредноутов мы рискуем потерять господство на Черном море. Ведомство отрицает эту опасность, закрывает на нее глаза, тогда как у нас есть ощущение ее реальности до такой степени, что мы готовы поставить вопрос ребром: или надо строить корабли на Черном море параллельно с постройкой балтийских дредноутов, или вовсе ничего не строить. В последнем случае мы готовы все свое внимание и все средства государства направить на срочное усиление армии.

Столыпин поднял перчатку. Он, ссылаясь на авторитет морского генерального штаба, утверждал, что наши опасения за Черное море ни на чем не основаны, что турки действительно вели разговоры о покупке крейсера „Блюхер”, но эти переговоры отпали. Притом, если покупка эта осуществилась, она не

изменила бы соотношения сил в Черном море. Затем он предоставил слово адм. Эбергарду, начальнику морского генерального штаба.

Адмирал вообще не был красноречив, его речь была веской и краткой репликой. Он полностью подтвердил слова Столыпина и от себя прибавил: если у нас есть достаточно средств, чтобы строить не одну, а две бригады линейных кораблей, то я предпочитаю и вторую строить на Балтике. Всякие дальнейшие споры были излишни, мы опять ни до чего не могли договориться, разошлись еще более разъединенными, чем до заседания.

Наступило лето, мы разъехались. Гучков поехал в Константинополь. Там от наших дипломатических и военно-морских представителей он узнал правду. Оказалось, что турки только что заказали в Англии* один дредноут, вооруженный десятью орудиями 34-сантим. калибра, который должен быть готов летом 1914 г., т. е. к самому критическому моменту. Одновременно шли переговоры о втором корабле, но они еще не были закончены. Наши представители в Константинополе волновались.

Гучков вернулся в Петербург и сейчас же был принят премьером, которому и передал свои сведения. В то время я лежал в Кауфмановской общине Красного Креста, куда после свидания со Столыпиным заехал ко мне Гучков. Произошел разговор, которого я никогда не забуду. Гучков рассказал мне, что он передал все сведения Столыпину, кото-

* Этот мощный линейный корабль „Решид” был действительно готов к лету 1914 г. и вместе с „Тебенотом” должен был обеспечить Турции господство на Черном море до вступления в строй русских линкоров типа „Императрица Мария” в 1915 г. Он был конфискован Англией и включен в состав британского флота в августе 1914 г. — Прим. ред.

рый уже сам был в курсе дела. Правительство получило все эти данные, которые подтверждались из дипломатических источников. Само морское министерство было тревогу, оно понимало угрозу, которая создавалась на юге. Им спешно разрабатывался вопрос о постройке сразу трех дредноутов для Черноморского флота. Краткость срока, который мы имели для постройки, не позволяла вооружить суда четырехдюймовками, приходилось дать им пушки меньшего калибра против тех, коими будут вооружены турки, поэтому решено строить три корабля против двух турецких. Столыпин припомнил наши настроения весной того же года, он настаивал на необходимости срочно парировать опасность, взывал к нашему патриотизму. Однако он не скрывал, что придется одновременно строить и балтийские корабли, прибавив, что финансовое ведомство уверено, что положение бюджета позволит выполнить обе задачи.

Теперь пред нами остро встал вопрос, как должна отнестись к этому проекту Государственная Дума. Вот по этому поводу Гучков и приехал со мной посоветоваться, т. к. от позиции бюро нашей партии в большой мере зависило направление дела. Гучкова пугала величина суммы, которую приходилось затратить на постройку семи дредноутов, стоимость каждого исчислялась в 34 млн. руб. С одной стороны, после трех лет повторных отказов было трудно сразу повернуть Думу на 180 градусов, у многоголового собрания есть своя логика, сила инерции кое-что да значит. Притом же надо было как-то подготовить и общественное мнение к восприятию этого поворота. Словом, было много вопросов, очень сложных и трудных психологически.

Тем не менее мы оба сразу решили, что черноморские дредноуты строить нужно, и как можно

скорее. Конечно, при этом мы сходили с той принципиальной позиции в нашем споре с ведомством, которой три года держались. Если оно достаточно реформировано для постройки кораблей на юге, нельзя будет утверждать, что оно неспособно их строить на Балтике. Приходилось выбирать — или строить 7 судов, или ни одного.

Мы оба не колебались, нам было ясно, что строить нужно, но при этом приходилось еще обсудить вопрос о том, как, какими гарантиями обставить дело так на будущее время, чтобы раз навсегда обезопасить Думу от злоупотреблений со стороны правительства и Государственного Совета пресловутою 13-й статьей сметных правил.

Соглашаясь на 7 дредноутов, мы хотели сохранить свободу решений Думы в будущем. Остановились на мысли, что как теперь, так и в будущем все кредиты на постройку кораблей должны быть вносимы в смету в виде условных кредитов, оправдываемых каждый раз особым законопроектом.

Затем мы обсудили вопрос, не следует ли выторговать у правительства, которому мы делаем столь большую уступку в деле судостроения, кое-что для страны, для наших избирателей, особенно для земской среды.

В то время нас очень занимал вопрос о введении всеобщего народного образования. По этому вопросу между нами и правительством вышло разногласие, возник спор, который ставил под вопрос все это дело, столь близкое земским людям. Правда, правительство вносило ежегодно в смету на развитие школьного дела кредиты, превышавшие прошлогодний отпуск приблизительно на 8 млн. руб. Но оно решительно возражало против зафиксирования в законодательном порядке принципа прогрессивного увеличения этого кредита из года

в год на определенную сумму, притом на много лет вперед.

Правительство указывало, что после благоприятных в финансовом отношении лет могут наступить трудные времена, когда никакого увеличения кредитов нельзя будет допустить. Оно имело сильную поддержку в лице Государственного Совета, поэтому разработанный нашей комиссией по народному образованию законопроект о введении всеобщего обучения в 8-летний срок не имел шансов увидеть свет. Между тем этим законопроектом мы очень дорожили, так как без такого предрешения будущих отпусков Министерство народного просвещения не имело право вступить с земствами в договорные отношения о плане постройки сети школ, рассчитанной на много лет вперед. А без этого все дело введения всеобщего обучения отсрочивалось на много лет.

Вот теперь представился благоприятный случай, можно было поторговаться с правительством. Оно испрашивало большие кредиты на ряд лет — постройка должна была длиться около 4 или 5 лет: следовательно, оно само сходило для дела судостроения с своей принципиальной позиции — несвязывания рук на будущее время в финансовых вопросах. Размер кредитов на школьное дело не был так чрезмерно велик, чтобы для него нельзя было сделать исключения. Притом правительство знало, как трудно сдвинуть Государственную Думу с мертвой точки в морском вопросе. Оно чрезвычайно дорожило отпуском денег на дредноуты, ибо это обозначало бы конец конфликта Думы с морским ведомством; оно должно было опасаться, что этого не случится, что опять все останется по-старому, что Дума откажет в кредитах.

Поэтому мы думали, что нам удастся его убедить в том, что в его собственных интересах с нами торговаться и уступить нам в школьном вопросе в том случае, если мы поможем ему получить деньги на судостроение. Однако мы понимали, что торг будет трудным, правительство будет упираться, но дело не казалось безнадежным, особенно если мы проявим твердость и будем стоять на позиции „ДО УТ ДЕС“, если правительство до последнего момента не будет знать, что в душе мы уже предрешили вопрос об отпуске денег на корабли, если оно вплоть до окончания торга будет под впечатлением, что мы денег не дадим, раз соглашения не последует. На этом и порешили. Когда собралась Бюджетная комиссия, мы начали проводить в жизнь наш план.

Надо было убедить влиятельных членов нашей фракции принять нашу тактику и одновременно вести переговоры с правительством. Работа в думской среде привела к благоприятному результату: Бюджетная комиссия на этот раз не исключила кредитов на корабли из сметы, но перечислила их в ряд условных кредитов.

Морское ведомство перепугалось, ведь условные кредиты могли отпасть в любой момент путем отклонения Думою законопроекта, их оправдывающего, тут уж Государственный Совет был бы бессильен помочь. Этот перепуг облегчал переговоры с правительством. Столыпин не отрицал возможности принять наши условия, но указывал на трудность их осуществления, на оппозицию министра финансов, на противодействие Государственного Совета. Мы решительно стояли на своем. Наконец, Столыпин решил уступить. Он приехал в Таврический Дворец в сопровождении министра финансов и моряков. Состоялось оформление окончательно достигнутого соглашения.

В этом заседании с нашей стороны участвовали: докладчик по морской смете, председатель комиссии по народному образованию фон Анреп и, если не ошибаюсь, председатель финансовой комиссии Лерхе, все трое члены бюро нашей фракции.

Сперва Столыпин старался разделить два вопроса, предрешить морской, оставив висеть в воздухе народное образование. Но мы уже чувствовали, что он уступит, поэтому стояли твердо на своем, доказывали, что общественное мнение земской среды не простит нам, если мы уступим в морском вопросе, ничего не дав взамен нашим избирателям. Столыпин это оспаривал, он говорил: „Что вы ссылаетесь на общественное мнение, ведь вы сами его создаете”. В конце концов он уступил, но при этом и он, и министр финансов поставили нам два условия.

1. Возрастание кредитов на дело всеобщего образования должно происходить в арифметической прогрессии, прибавляя по 8 млн. руб. в год к сметному назначению предыдущего года.

2. Самое соглашение должно оставаться в строгой тайне.

Первое условие было необходимо, по их словам, потому, что Государственный Совет уже привык к ежегодному увеличению кредита на эту сумму и его невозможно переубедить увеличить этот кредит.

Второе условие было поставлено правительством потому, что в то время Государственный Совет уже вел глухую борьбу против Столыпина, что наглядно выявилось в вопросе о штатах морского генерального штаба. Теперь Столыпин опасался, что разглашение факта соглашения правительства с Государственной Думой даст главарям правой оппозиции верхней палаты сильное оружие для дискредитирования правительства в Царском.

Мы оба эти условия приняли, соглашение состоялось. Так в коротком заседании, происходившем в министерском павильоне Таврического Дворца, был окончательно ликвидирован трехлетний конфликт Государственной Думы с морским министерством.

В силу этого соглашения министерство получило громадные суммы на достройку балтийских дредноутов и на спешную постройку на Черном море трех дредноутов, девяти миноносцев и шести подводных лодок.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА И РЕФОРМА МЕСТНОГО СУДА

Выборы в первые две Государственные Думы прошли под знаком борьбы вокруг аграрного вопроса. В России, стране земледельческой и крестьянской, аграрный вопрос, естественно, должен был играть первенствующую роль во внутренней политике; правильное и своевременное его решение должно было иметь громадное значение для экономического прогресса и социального мира страны. Но ему не повезло. Именно, при решении вопросов земельного устройства крестьянской массы на первый план выступили не сельскохозяйственные и экономические интересы деревенского населения, не соображения социального устройства основной массы крестьян-землеробов, а привходящие политические или даже фискальные соображения.

При реформе 1861 года законодатель ради удобства взыскания выкупных платежей лишил наибольшую часть деревенского населения — многомиллионное великорусское крестьянство — права

собственности на землю, которую оно должно было обрабатывать и выкупать. Собственником земли в большей части России становилась община, многоголовый мир, который мог в любой момент отнять простым голосованием о переделе у крестьянина землю, которую тот обрабатывал, удобрял и выкупал в течение долгого ряда лет. В результате у крестьянина исчезло понятие о собственности на землю, он перестал понимать, почему одна земля являлась собственностью других классов, когда наделная земля, данная ему государством и им выкупаемая в течение многих лет, ему не принадлежит, может перейти к другому лицу без его согласия, в результате чужого волеизъявления.

Роковые последствия этой основной ошибки освободительной реформы 1861 года сказались не сразу. Вредные ее стороны не только не были исправлены в следующее царствование, но, напротив, они были усилены под влиянием ложного представления о том, что институт земельной общины есть один из устоев нашей самобытности, основа нашего государственного уклада и вернейшее средство против появления у нас революционного пролетариата. Благодаря этому недомыслию, всякая возможность высвободиться из пут общины, которую еще допускал законодатель 1861 года, была вытравлена с корнем.

Жизнь показала ошибочность всех этих надежд. Пролетариат начал расти, как только начала развиваться наша промышленность. Зато община способствовала обеднению деревни, вела к понижению урожайности, прививала крестьянству идею социальной справедливости в форме черного передела, укрепляла и углубляла рознь между ним и другими классами, особенно живущими в деревне.

Горькие плоды начали сказываться еще до японской войны в форме вспыхивавших то тут, то там аграрных беспорядков. Но ни власть, ни общество еще не учитывали всего значения этих симптомов. Наступила несчастная японская война. Она принесла бесконечное разочарование, тяжкое оскорбление национального чувства, показала глубокие язвы государственного строя, бессилие власти справиться с исключительными обстоятельствами. Революционные настроения, давно работавшие под спудом, вышли наружу, началось открытое революционное движение. Все левые партии, начавшие штурм власти, ухватились за аграрный вопрос как за средство поколебать старый социальный строй, стремились использовать неурядицу земельных отношений для борьбы против самодержавия, старались захватить руководство крестьянским движением. Судьба русского сельского хозяйства, экономическое процветание деревни и финансовое благополучие государства в их глазах отходили на второй план, их аграрные программы имели целью прежде всего достижение очередной политической задачи, именно — борьбу против власти и элементов, которые по традиции считались опорой этой власти.

Поэтому все их программы были построены на одном и том же принципе отрицания права собственности на землю всех слоев общества и народа, за исключением крестьянской массы. В этой погоне за демогией, конечно, крайние партии имели преимущество перед сравнительно умеренными. При выборах в первые две Думы, когда выборщики от крестьянской курии имели преобладающее значение в губернских избирательных собраниях, аграрный вопрос стал во главе угла выборной борьбы, вокруг него произошли главные схватки. Крестьяне шли за теми, кто им больше обещал, левые должны

были победить и победили. В результате — две революционно настроенные Государственные Думы, обе распущенные через несколько недель после созыва, обе поколебавшие престиж нового строя, обе поставившие под вопрос самое существование у нас народного представительства.

Если бы Столыпин хотел ликвидировать Думу, ему достаточно было бы созвать Третью Государственную Думу при существовании прежнего избирательного закона. Но он пошел по иному пути. Еще до созыва Второй Государственной Думы он подготовил и внес ряд законопроектов, имевших целью удовлетворить назревшие потребности страны. Естественно, он не мог пройти мимо такого животрепещущего вопроса, как аграрная проблема. Однако при решении этой задачи он не пошел по пути, проторенному политическими партиями, не погнался за популярностью. Он, видимо, давно и основательно понимал главное зло наших земельных порядков, сознавал вред общинного земледелия. Вместе с тем он понимал, что власть не может бороться с пропагандой левых партий только мерами репрессий, запрещения, отрицания. Нужно было дать какое-то положительное решение, какой-то план переустройства земельного уклада деревни, направить мысль в другую сторону от ставшей ходячею идеи удовлетворения малоземелья путем нового наделения за счет остатков частной земельной собственности.

Продолжительное общение с земским элементом, наблюдение сельской жизни западного края, где в значительной степени было развито хуторское хозяйство мелких собственников-хлеборобов, все это привело его к убеждению в необходимости коренной перестройки земельных отношений среди крестьянской массы, изменения порядка землеисполь-

зования на наделных землях, раскрепощения мужика от пут общины. Это было коренной реформой всего деревенского быта, ломкой десятилетиями сложившегося социального порядка и привычек самой косной и темной массы населения. Для такого мероприятия, в котором было столько риска, нужно было много воли и мужества. Столыпин проявил и то и другое. Он разработал и провел в жизнь закон о „выходе из общины“, который был утвержден в порядке 87-й ст. основных законов.

Вторая Государственная Дума не удосужилась рассмотреть внесенные Столыпиным законопроекты, все они мирно долежали до созыва Третьей Думы.

Третья Государственная Дума была по преимуществу земской и землевладельческой, выбрана она была, когда отголоски борьбы по аграрному вопросу еще не были изжиты, но благотельные результаты закона о выходе из общины уже обозначились, как выясилось уже и отношение к нему значительной части лучших элементов крестьянства.

Поэтому отношение Государственной Думы к этому закону проявилось сразу, и в самой положительной форме. Немедленно была образована земельная комиссия под председательством видного лидера октябристов — Родзянко. В составе комиссии числились наиболее активные и влиятельные члены руководящего большинства Думы; оппозиция тоже послала туда своих лучших борцов. Занятия комиссии приняли с первых же дней боевой, агрессивный характер, началась ожесточенная словесная борьба за и против закона.

Негодование левого сектора против меры Столыпина не имело границ. Они видели в ней покушение на излюбленный ими принцип отчуждения частновладельческих земель, полагали, что главною целью

закона является создание многочисленного, зажиточного и преданного принципу собственности на землю класса крестьян-собственников, который станет опорой частного землевладения вообще и существующего социального строя в особенности. При этом же разрушение общинного землевладения, становившееся вероятным, судя по встрече нового закона крестьянством, представлялось как покушение на зачаток того социалистического идеала землепользования, который сохранился у нас в виде земельной общины. Но главное было в том, чтобы, провалив закон, уже введенный в жизнь по 87 ст. осн. зак., подорвать престиж и власть ненавистного Столыпина. Когда Струве и кое-кто из недавних кадет-экономистов высказались за эту меру как за прогресс в области экономических отношений, их встретили улюлюканьем, произвели в ренегаты.

Отрицательное отношение закон встретил и со стороны некоторых крайних правых, видевших в нем покушение на „устой“, на „самобытность“. Однако то обстоятельство, что закон уже был утвержден Государем, заставляло их быть сдержанными, не выступать открыто и принципиально против него, ограничиться внесением поправок. Эта оппозиция не была опасной, тем более, что громадное большинство центра и правого сектора горой стояло за закон. Представителям правительства в комиссии почти не нужно было выступать в защиту закона, так как докладчик — видный октябрист Шидловский* — и остальные члены нашей партии энергично защищали закон, мало того, они стремились внести некоторые поправки, имевшие целью усилить действенность закона в смысле процесса

* См.: С. И. Ш и д л о в с к и й. Воспоминания, ч. I, с. 131 и далее. Берлин, 1923.

разложения общины и превращения основной массы крестьянства в собственников наделных земель. В этом отношении приходилось скорее сдерживать многих представителей центра, убеждать их быть менее радикальными. Моя личная роль в комиссии была очень скромная, единственное яркое воспоминание об этом моменте моей думской работы состоит в том, что тут мне впервые пришлось столкнуться с Шингаревым, в первый раз доказывать ему, что его точка зрения продиктована партийными соображениями, причем интерес борьбы заслоняет сущность дела. Впоследствии почти во всю мою думскую деятельность мне приходилось постоянно бороться с Андреем Ивановичем и только во время войны, когда он был избран председателем военно-морской комиссии, мы стали работать параллельно, даже совместно, а не друг против друга.

Как бы то ни было, благодаря содействию партии октябристов, видевших в законе о выходе из общины крупнейшую и благотворительную реформу, закон этот был окончательно утвержден в Государственной Думе. В Государственном Совете он тоже прошел благополучно, хотя часть правых несколько против него будировала. Проведение его в жизнь, которое частично уже началось раньше, усиливалось другим законом, внесенным Столыпиным и тоже принятым Государственной Думой. Я имею в виду закон о землеустройстве, докладчиком по которому был октябрист гр. Капнист. Законопроект этот не встретил такого ожесточенного сопротивления, как первый. Он технически был чрезвычайно удачен, можно сказать, что он был лучшим в мире законом о землеустройстве. В его разработке я уже не принимал участия, т. к. окончательно специализировался на военных и морских вопросах, кото-

рые в связи с работой в Бюджетной комиссии поглощали все мое время. Да и интерес острой политической борьбы по земельному вопросу отпал, т. к. с принятием закона о выходе из общины оппозиция перестала им интересоваться, лучшие ее борцы вышли из Земельной комиссии. Проведение на местах в жизнь нового аграрного законодательства возлагалось по закону на землеустроительные комиссии следующего состава: председателем был предводитель дворянства, членами — председатель земской управы, член от судебного ведомства и чиновник Министерства земледелия со званием непрямого члена комиссии. Техническую работу вел, конечно, последний, но в деле направления деятельности комиссий, как видно, земский и помещико-землевладельческий элементы играли громадную роль.

Если честь инициативы и первоначального проведения в жизнь закона о выходе из общины принадлежит Столыпину, то все же и Государственная Дума приложила к этому делу свою руку. Она утвердила закон, улучшила и углубила его, а главное — дополнила изданием закона о землеустройстве, который чрезвычайно облегчил и ускорил процесс превращения общинного землевладения в институт частной собственности на землю. Пусть главная заслуга принадлежит Столыпину, но и народное представительство не только не помешало ему в достижении намеченной цели, но всячески помогло ускорить переустройство деревенского быта. Эта поддержка имела громадное значение для ускорения проведения в жизнь закона. До того сильнейшая оппозиция почти всей русской интеллигенции мерам Столыпина отнимала у населения веру в прочность и долговечность закона, подрывала энергию

исполнителей, думавших, что они заняты гиблым и обреченным на провал делом. С момента публичного обсуждения вопроса в Думе отношение к закону, по крайней мере на местах, круто изменилось. У врагов опустились руки, исполнители уверовали в свое дело, в его прочность и благодетельность для страны.

Лучшая часть крестьянства, его наиболее энергичные элементы, увидели в выходе из общины и в хуторском землепользовании вернейшее средство упрочить свое благосостояние.

Реформа отныне пошла полным ходом. Эту моральную помощь нельзя недооценивать.

Государственная Дума посвящала много времени и внимания вопросам правовым, ее юридическая комиссия усиленно работала.

В этой области в активе народного представительства числится большой вклад, который имел бы огромное влияние на русское правосознание, на укрепление чувства законности и уважения к закону и праву, если бы революция не смыла все честное, светлое и прогрессивное, что было накоплено в несчастной России за века петербургского периода ее истории. Конечно, в этом всеобщем крушении погибло также все, что было сделано Государственной Думой в области суда, развития правосудия и укрепления права и законности.

Об этой стороне деятельности народного представительства мне не следовало бы вообще говорить, слишком далеко я стоял от этой работы, слишком был поглощен другими сторонами государственной деятельности, притом моя память не могла сохранить сколько-нибудь интересных деталей борьбы, которую вела Дума по этим вопросам, т. к. с тех пор прошло около четверти столетия и в памяти за-

печатлелось лишь то, в чем я сам принимал деятельное участие.

Тем не менее я хотел бы попытаться восстановить здесь один эпизод борьбы за развитие чувства законности в стране и за усовершенствование отправления правосудия в деревне, т. е. в большей части России.

Я имею в виду проведение в жизнь закона о мировом суде, который имел не только чисто профессиональное судейское значение, но представлял собой большой политический акт, одно из звеньев в той схеме переустройства внутреннего управления, которая в конечном счете вела к передаче преимущественного влияния на жизнь деревни в руки земской среды с устранением, елико возможно, чрезмерно разросшейся опеки административной власти. Политику эту мы неуклонно преследовали, хотя громко о ней говорить не могли.

В законе о мировом суде имелась эта политическая сторона, заставлявшая им интересоваться ту руководящую ячейку нашей партии, секретарем которой я тогда состоял.

Вследствии этого бюро партии все время было в курсе всех перипетий борьбы за реформу, интересовалось ее политической стороной и в решающий момент борьбы за законопроект вынуждено было дать согласие на известный компромисс, хотя тем самым социально-политическая задача реформы значительно умахалась.

Во главе министерства юстиции тогда стоял Щегловитов, который когда-то разработал законопроект по соглашению с Столыпиным и внес его в Государственную Думу в момент, когда правительство готово было идти навстречу назревшим потребностям страны, а премьер нащупывал почву для того, чтобы опереться на земскую среду при пред-

стоявшей попытке изменить избирательный закон в Государственную Думу.

Щегловитов был умный и беспринципный политикан, он отлично учел, что к моменту рассмотрения законопроекта в Думе внешние обстоятельства резко изменились. Революционное настроение в стране явно пошло на убыль, в законодательных палатах образовались мощные партии крайних правых, которые, особенно в Государственном Совете, вели явную борьбу с премьером и с Государственной Думой, как учреждением. Он видел, что в этой борьбе правые имеют поддержку в окружении Императора, что доверие последнего к первому министру начало колебаться. Поэтому он счел своевременным начать отступление от принципов, еще недавно положенных им самим в основу законопроекта. Естественно, в правых он имел горячих защитников и союзников.

Нашим представителям в юридической комиссии, особенно докладчику законопроекта Шубинскому, пришлось приложить много стараний, затратить массу труда и выдержки, чтобы отстоять основы законопроекта, провести такой текст его, который сохранил бы за земским элементом возможность иметь решающую роль при подборе мировых судей и тем иметь известное влияние на осуществление правосудия на местах.

Мировой суд не был по существу у нас новостью. Первое его введение в жизнь произошло в эпоху реформ Императора Александра II. Но потом, в следующее царствование, при наступившей реакции он был упразднен почти во всей России, по крайней мере в уездах. Судьи, выбиравшиеся органами самоуправления, были заменены чиновниками, всецело зависевшими от центральной власти. Особенно ярко эта зависимость проявлялась в деревне, где су-

дил земский начальник, всецело зависящий от губернатора. Притом же деятельность земского начальника переплеталась с чисто административными функциями, получалось смешение в одном лице судебной и административной властей.

Рядом с судебной властью земского начальника продолжал жить и развиваться сословный волостной суд, чисто крестьянское учреждение, вполне подчиненное в лице писаря земскому начальнику, всецело находившееся под опекой администрации. Суд этот давно принял странные, уродливые формы. Он не руководился в своей деятельности какими-либо писаными нормами, не считался с существующими законами. В основу его решений обычно принимались в соображение местные обычаи, чаще всего произвольное толкование их писарем. При этом, конечно, не было предела произволу и взяточничеству, главная масса деревенского населения постепенно утратила веру в закон и представление о законности. Немудрено, что народная мудрость выработала пословицы: „С сильным не борись — с богатым не судись”, или еще хуже: „Закон что дышло, куда ни поверни — туда и вышло”. Это вело к потере веры в законность, отнимало уважение к закону. Эта психология, повсеместно распространившаяся в деревне, являлась грозным предостережением для государственной власти, угрозой для всего социального строя.

Мы, близко стоявшие к деревенской жизни, понимали, что невозможно государству требовать уважения к закону от населения, 85% которого живет в условиях, наглядно выразившихся в этих двух пословицах.

Вследствие этого земская среда давно требовала восстановления в уездах мирового суда и упраздне-

ния, или по крайней мере чрезвычайного сокращения компетенции, сословного волостного суда.

Теперь, когда законопроект этот встал на обсуждение думской комиссии, правые элементы старались ослабить его значение, по крайней мере отстранить влияние выборного земского элемента на подбор судей, кои будут осуществлять правосудие на местах. Вместе с тем они стремились сохранить возможно полнее функции сословного крестьянского суда, видя в нем один из устоев нашей самобытности.

В Щегловитове они нашли сильного союзника. Он был человек властный, ему хотелось сохранить в своих руках возможно больше власти, влияния на отправление правосудия в большей части России. Идея замены выборного института судей людьми по назначению, от него зависимыми и им руководимыми, ему очень улыбалась. Ему ничего не стоило отойти от основ законопроекта, но делать это слишком демонстративно он не хотел, эту работу должны были сделать за него его новые союзники. Однако в этом отношении думское большинство проявило большую настойчивость, несговорчивость. Мы хотели иметь не только новый суд, но именно такой суд, который будет иметь тесное соприкосновение с местной жизнью, личный состав которого будет в большей части состоять из местных людей, притом излюбленных людей местных органов самоуправления.

В смысле ценза, материального и образовательного, который нужно было требовать от кандидатов в мировые судьи, мы готовы были идти на уступки, но принцип выборности судей и председателей мировых съездов мы всячески отстаивали. Щегловитов уступил. Труднее всего ему, видимо, было отказаться от мысли назначать своею властью будущих

председателей съездов мировых судей, истинных руководителей деятельности нового института, председателей апелляционной инстанции. Тем не менее он в конце концов с нами согласился, выборный принцип признал, заявил об этом публично. В смысле сохранения волостного суда был выработан известный компромисс.

В общем собрании Государственной Думы Шубинскому пришлось очень много бороться и направо, и налево: одни хотели как можно больше сохранить от существующего положения вещей, другие, как всегда, стремились внести такие демагогические поправки, которые бы поставили всю реформу под удар в Государственном Совете, притом в условиях, обеспечивавших ее отклонение.

Наиболее спорный пункт, о выборных председателях съездов мировых судей, прошел в редакции комиссии, т. е. в такой, которая давала нам полное удовлетворение. Щегловитов это решение принял.

Волостной суд не был уничтожен, в этом смысле пришлось сделать уступку правым, но он становился чисто факультативной инстанцией, любая из тяжущихся сторон могла от него отказаться и тогда разбирательство переходило к мировому судье. Самая его компетенция в смысле подведомственных дел очень суживалась. Можно было надеяться, что жизнь сама сделает остальное в смысле его ликвидации.

В таком виде законопроект был передан в Государственный Совет.

Тут произошло то, чем мы не ожидали. При обсуждении законопроекта в Государственном Совете Щегловитов заговорил совсем иным языком, чем в Государственной Думе. Он окончательно поставил ставку на правое большинство Государственного Совета, откровенно отказывался от того, что

принимал в Думе. В частности, он встал на определенно непримиримую позицию в вопросе о председателях съездов. Резко отмежевался он и от текста первоначального проекта закона, когда-то им внесенного в Думу, и от своего заявления, сделанного столь недавно при обсуждении в Думе законопроекта. Теперь он был непримирим в этом вопросе, его горячо поддерживало правое крыло Государственного Совета. Естественно, он победил в общем собрании Государственного Совета.

Зубоскалы в Думе уверяли, что Щегловитов успел изменить свое мнение в этом вопросе за время, которое потребовалось ему для переезда из Таврического Дворца на Мариинскую площадь. Но нам было не до смеха.

Законопроект вышел из Государственного Совета неполным, не вполне отвечавшим чаяниям земской среды. Назначение в административном порядке председателей съезда мировых судей ставило выполнение всей реформы в зависимость от министра юстиции, влияние земского элемента на местный суд тем в значительной мере суживалось, реформа оказывалась недоделанной, искалеченной.

Однако наше бюро было осведомлено, что Государственный Совет занял определенную, решительную позицию, что он, поддерживаемый Щегловитовым, ни на какую уступку в вопросе о председателях мирового съезда не пойдет. Если бы в согласительной комиссии палат в этом вопросе не было достигнуто соглашение, то весь законопроект был бы похоронен. Перед нами встал вопрос: или остаться при старом положении, вернее при старых беспорядках в деле местного суда, или пойти на компромисс с Щегловитовым и Государственным Советом, т. е. согласиться на назначение председателей съездов мировых судей властью министра, сохранив

за земскими собраниями право выбирать кандидатов в мировые судьи.

После некоторого колебания пришлось идти на компромисс с Государственным Советом, уступить Щегловитову право назначать председателей съездов. Все же принятый при такой комбинации закон был крупным прогрессом в деле организации местного суда и при этом попутно закладывалась база для постепенного полного упразднения архаического волостного суда.

Притом же реформа была шагом вперед в деле расширения влияния земского элемента на местах, его участия в деле подбора лиц, призванных укреплять правосудие в деревне.

ЗЕМСТВО В ЗАПАДНОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНТРИГА ПРОТИВ СТОЛЫПИНА

Третья Государственная Дума была по своему составу земской Думой, большой процент депутатов вышел из рядов земских и городских гласных, особенно сильно было преобладание земцев в партии октябристов, т. е. в руководящем центре Думы. Естественно, земцы стремились расширить права местного самоуправления и ввести его там, где его еще не было. Особое внимание наше было обращено на 9 западнорусских губерний с их русским в большинстве населением.

Когда-то еще Горемыкин предполагал ввести там земство, но эта попытка кончилась, как известно, для него полным провалом под влиянием оппозиции всесильного тогда Витте. Нами были предприняты шаги, чтобы прозондировать, как Столыпин отнесется к проекту введения там земства. Результат

был печальный. Столыпин вообще не был врагом земства и земцев, в своем законе 3-го июня он поставил ставку на этот элемент. Однако он сознавал трудности, стоявшие на пути введения земства в западнорусских губерниях*.

Частное землевладение там в большой мере продолжало еще находиться в руках поляков, элемента культурного, сплоченного и относившегося враждебно ко всему, что могло способствовать укреплению связи края с остальной Россией, продолжавшего политику полонизации крестьян, несмотря на более чем столетнее воссоединение этих губерний с русским государством. Естественно, при введении там земства этот культурный и враждебный русской государственной идее элемент получил бы преобладающее влияние в новых органах самоуправления и использовал бы их для вящей полонизации края, чего правительство не могло допустить.

Затем местный крупный промышленный и земельный капитал вообще был крайне враждебен введению там земства. При существовавших порядках обложение на местные нужды было минимальным, вне всякого сравнения с тем, что имелось в староземских губерниях. Ясно, что введение земских учреждений очень быстро подняло бы это обложение, направило бы миллионы рублей на нужды местного крестьянства, и миллионы эти в значительной части были бы взяты из карманов этого богатого и эгоистического класса. Он имел сильную поддержку среди крайних правых Государственного Совета и среди высшей бюрократии. Последняя была более решительным противником земства вообще, а в этих губерниях в частности.

* См. статью А. П. Столыпина на ту же тему в сборнике „Россия в эпоху реформ”, с. 218. Изд. „Посев”, 1981.

Ведь до сих пор губернии эти управлялись в порядке административного назначения чиновников, ведающих местными нуждами. Это составляло кадры в несколько сот, всецело от администрации и, в частности от губернаторов, зависевших людей, которые при введении земства остались бы за бортом и были бы автоматически заменены выборным элементом, часто оппозиционным местному губернатору.

Наконец, не забыт был еще эффект провала Горемыкина.

Вот все это вместе взятое отнимало у нас всякую надежду увидеть введение земства в этих губерниях.

Прошло несколько лет, приблизился срок выборов в Государственный Совет от курии землевладельцев западнорусских губерний.

На прежних выборах неизменно одерживали победу более многочисленные и сильно сплоченные землевладельцы-поляки, они проводили в Государственный Совет, кого хотели. Это обстоятельство сильно раздражало депутатов от тех же губерний в Государственной Думе, которые все же были русской национальности и в большинстве принадлежали к фракции националистов, одним из лозунгов которых была борьба с поляками за обрусение края. Им, при их повышенном национализме, казалось оскорбительным вновь пережить поражение на близких выборах, что, по соотношению сил в курии, было неизбежно.

Однажды ко мне в Бюджетной комиссии подсел депутат Сувчинский и рассказал, что он только что с несколькими коллегами по фракции был в Царском, где они просили Государя вмешаться и принять меры к тому, чтобы был издан закон об изменении системы выборов в Государственный Совет

от западнорусских губерний. Государь с ними беседовал очень милостиво и, прощаясь, обещал им положительно, что следующие выборы произойдут по новому закону.

Это было для меня целое откровение. Стало совершенно очевидным, что прием депутации есть дело рук премьера, что без надлежащей с его стороны подготовки не было бы ни самого приема, ни тем более такого заявления, в сущности обещания, со стороны Государя. Ясно было, что такое обещание обязывает, что теперь премьер сделает все, что в его силах, чтобы оно было осуществлено.

Я сейчас же собрал бюро нашей фракции, секретарем коего я тогда был. Последовало самое серьезное обсуждение небывалого в нашей парламентской жизни факта — обещания Государя вмешаться в законодательную по существу меру. Решено было это обстоятельство использовать для того, чтобы заставить правительство сойти с его враждебной позиции к западному земству, превратить Столыпина в нашего союзника в этом деле.

Прежде всего было решено держать все в секрете. Скоро Столыпин внес законопроект, коим предполагалось продлить полномочия членов Государственного Совета от девяти западнорусских губерний на год, чтобы, очевидно, иметь время провести изменение выборного закона. Наше бюро пригласило председателя комиссии Законодательных Предложений Антонова, которому было преподано указание, чтобы наши представители в комиссии сделали все возможное для отклонения законопроекта. Он был очень удивлен, но, понимая, что тут что-то не договаривается, поручение выполнил. К великому удивлению Столыпина и к вящему негодованию националистов, законопроект был в комиссии провален. Начались оживленные переговоры премьера

с нашим бюро. Столыпин волновался и сердился: он понимал, что без помощи бюро законопроект будет провален в общем собрании Государственной Думы, а тогда автоматически наступит срок выборов в Государственный Совет, причем обещание Государя останется неисполненным. Идти же на государственный переворот из-за 9 мест в Государственном Совете ему не хотелось. Сперва он пробовал нас убедить отказаться от нашей оппозиции законопроекту, но мы упирались. Мы ему говорили: если правительство хочет изменить выборный закон в этих губерниях, у него есть простое и законное средство: стоит ввести там земские учреждения и тогда автоматически, в силу основных законов, выборы от землевладельческой курии будут заменены выборами от губернских земств, цель будет достигнута.

Столыпин приводил все возражения против введения там земских учреждений, из коих реальную силу имело одно — боязнь, что земства попадут под исключительное влияние поляков и будут служить орудием для полонизации края. На это мы предложили провести в законе принцип ограждения русских интересов путем установления курий по национальностям, выделение поляков в особую курию с предоставлением им небольшого представительства в земских собраниях, напр., пропорционально их численности в крае. Сперва Столыпин пробовал возражать, указывать, что национальных курий у нас никогда не было, что это не земский принцип. Мы парировали эти указания тем, что сперва земство не знало сословных курий, потом последние были введены, но земство не погибло, продолжало жить и развиваться. Если можно было ввести курию дворянскую, почему нельзя ввести курию польскую, русскую и т. д. Всякая курия имеет целью оградить известные государственные

интересы путем усиления представительства тех или иных слоев населения.

Долго он упирался, потом сдался, особенно когда мы стали доказывать, что под русским владычеством эти губернии с русским в большинстве населением не только не обрусели за с лишком сто лет, но там процветает борьба польской идеи против русского государства. Земства же в руках местного русского элемента, настроенного ярко националистически, в скором времени поднимут русскую культуру края, сблизят его со староземскими губерниями, спаяют край с остальной Россией. Столыпин был русским патриотом-националистом. Он понял роль, которую в этом смысле может выполнить русское земство. Он обдумал положение и стал нашим горячим союзником в деле проведения земства на указанных выше началах. Однако он признавал, что дело это трудное. И поляки, и крайние правые, и крупные промышленники, все эти сильные противники реформы сделают все возможное, чтобы помешать проведению в жизнь намеченного плана.

Но для нас было уже большим успехом то, что отныне мы имели в Столыпине убежденного союзника. По соглашению с ним было решено, что в общем собрании Государственная Дума примет поправку к законопроекту в том смысле, что следующие выборы состоятся в законный срок, но полномочия выбранных членов Государственного Совета ограничатся одним годом. Самая мера мотивировалась обещанием правительства внести законопроект о введении земских учреждений в крае.

Осенью Столыпин внес законопроект о введении земства в шести западных губерниях. Он решил сперва попытаться провести принцип национальных курий в этих губерниях, где процент русского насе-

ления был более высокий, чем в трех остальных. Этого требовала осторожность, так как стало очевидно, какие трудности встретит эта мера в верхней палате. Чтобы ослабить эту оппозицию, Столыпин постарался привлечь на свою сторону Государя, пояснить ему, какое громадное влияние может иметь земство на усиление связи края с Россией. Ему удалось всецело убедить Государя в важности проведения меры с точки зрения национальной, сделать его союзником в этом вопросе. Однако и в Государственной Думе проведение земства с национальными куриями встретило большие затруднения. Против нового мероприятия яростно боролись поляки, их поддерживала вся левая часть Думы, не признававшая иной выборной системы, кроме „четырёххвостки”. Наконец, крайние правые, получившие директивы из правой группы Государственного Совета, всячески противились прохождению законопроекта. Тем не менее нам удалось законопроект провести, хотя с некоторыми поправками, на которые, впрочем, Столыпин согласился. Но на этом трудности не кончились, они только начались.

Главный бой предстояло выдержать в Государственном Совете, где господствовала фракция крайних правых, скрыто, но яростно боровшихся против Столыпина, видевших в нем главную помеху их политике дискредитирования нового строя в глазах Царя и страны. Они понимали роковую роль, которую когда-то в судьбе Горемыкина сыграло западное земство, они и теперь решили им воспользоваться, чтобы или свалить Столыпина, или хоть окончательно скомпрометировать его авторитет. Законопроект стал средством достижения этой цели, оружием политической интриги.

Столыпин знал, насколько велика опасность, но, как страстный политический боец, он не отступал

пред препятствиями, старался их преодолеть, сломать. Он вложил в борьбу всего себя, поставил на карту все свое влияние, все свое красноречие, умение убеждать. Наконец, он прибег к помощи авторитета Верховной Власти. Но и противники не дремали, мобилизовали все силы, игра шла ва-банк.

Столыпин торопил нас с передачей законопроекта в Государственный Совет, говоря, что необходимо добиться рассмотрения там законопроекта до возвращения из-за границы П. Н. Дурново, лидера крайних правых в Государственном Совете, который, как опасный и ловкий интриган, может все провалить.

В комиссии Государственного Совета законопроект прошел, хотя не без трений и не без поправок, но при этом правые сумели выиграть время до возвращения их лидера в Петербург. Наконец настал день обсуждения законопроекта в Государственном Совете. За несколько дней до этого председатель Государственного Совета, а также член фракции правых Трепов были вызваны в Царское, где Государь определенно дал понять, что он очень дорожит прохождением законопроекта. Однако по возвращении Трепов скрыл это обстоятельство от членов Государственного Совета по назначению, коим просто сообщил, что от них ждут, что каждый будет вотировать по своему убеждению. Большинство поняло это как предложение отклонить законопроект. Так оно и вышло. Несмотря на энергичную защиту законопроекта правительством, он был отклонен голосами крайних правых, левых и поляков. Столыпин немедленно подал в отставку. Его положение действительно стало невыносимым. Он от имени правительства внес законопроект, защищал его всемерно, а в результате законопроект отклонен главным образом голосами членов по назна-

чению. Но не менее резкую реакцию вызвало это отклонение и в Царском: ведь члены по назначению пошли против явно выраженной воли Власти, их назначившей. Отставка Столыпина не была принята.

Последовал трехдневный роспуск законодательных палат, проведение закона о земстве в шести западных губерниях в порядке 87-й ст. осн. зак. и принудительный вояж за границу Трепова и Дурново.

Эта резкая мера, не вяжущаяся с новым строем, вызвала определенное осуждение обеих палат, но дело было сделано, земство введено и просуществовало благополучно до самой революции.

В самом начале деятельности Третьей Государственной Думы нам пришлось рассмотреть целый ряд мелких законопроектов штатного характера, т. к. за время войны, революционного брожения и последовавшего после издания новых основных законов перерыва законодательных работ, вследствие досрочных роспусков первых двух Дум, накопилось много законопроектов, имевших в виду изменение и дополнение штатов центральных и местных правительственных органов. Все эти лишние принципиального характера законопроекты проходили после рассмотрения их в комиссиях через общее собрание Государственной Думы без прений в порядке, как тогда говорили, законодательной вермишели.

В числе такой „вермишели” имелся небольшой законопроект об отпуске штатных сумм на содержание Морского Генерального Штаба. До войны такого учреждения у нас не было, за что наш флот жестоко поплатился, т. к. не было организации, предназначенной подготовить флот к войне, изучить силы и стратегические возможности, коими должен

был в случае военных действий располагать возможным противник, выработать контрмеры с нашей стороны и вообще теоретически разработать план войны на Дальнем Востоке.

Отсутствие Морского Генерального Штаба настолько остро чувствовалось личным составом флота, что первым шагом в деле возрождения наших морских сил было намечено создание этого органа. Он и был создан, но его организация была временной мерой, выполненной за счет некоторых сокращений в других органах морского министерства, причем ведомство сознавало, что новая организация должна быть значительно дополнена и развита, чтобы она могла выполнить возложенную на нее функцию. Вот чтобы окончательно легализировать и реорганизовать новый орган, и был внесен этот законопроект.

По существу его возражений не было, в комиссиях он прошел единогласно. Мне пришлось быть докладчиком законопроекта, и на мне лежала обязанность внести в Государственную Думу соответствующий доклад и текст закона, подлежащего принятию Думою.

В то время мы были еще новички в деле законодательства, особенно чувствовалось отсутствие навыка в составлении текста принимаемых законопроектов. Поэтому, составляя мой доклад, я механически скопировал текст других штатных законопроектов, уже ставших утвержденными законами. В разъяснение испрашиваемых сумм к законопроекту было приложено штатное расписание будущего штаба. По примеру прочих аналогичных законопроектов я включил это расписание в текст закона, так что при его одобрении законодательными учреждениями утверждалось и самое приложенное штатное расписание.

Никто на это не обратил внимания, у нас думали, что так и полагается по закону. Министерство не возражало ни в комиссии, ни в общем собрании Государственной Думы. Этот текст закона и был одобрен.

В то время в Государственном Совете был обычай такие мелкие законопроекты не рассматривать по существу, просто председатель докладывал о поступлении таких-то законопроектов и спрашивал для формы, желает ли Государственный Совет их передать в комиссии или считать принятыми. Всегда их просто признавали принятыми без прений. На этот раз вышло не так.

В то время отношения между двумя палатами были натянутыми. Мы только что отклонили кредиты на балтийские дредноуты. В морском министерстве царило величайшее возмущение, говорили, что мы заставили моряков пережить вторую Цусиму.

Большое неудовольствие Думой чувствовалось и в Царском Селе. Ни для кого не было тайной, что Государь очень любил флот, что он очень болезненно пережил уничтожение наших эскадр на Дальнем Востоке, что с тех пор создание нового флота было его любимой мечтой. Поэтому всем было ясно, что благодаря его влиянию в смете на 1908 г. появились крупные ассигнования на начало постройки дредноутов, несмотря на дефицит в 200 миллионов руб. и на невозможность отпустить какую-либо сумму на начало выполнения жизненно необходимой малой военной программы.

Отклонение этих кредитов на дредноуты в Царском почувствовали как удар по престижу, тем более, что наши враги сумели подчеркнуть, что Государственная Дума сделала это не по финансовым соображениям, что-де в сфере ее компетенции, а требуя коренных реформ ведомства, что-де отно-

сится к прерогативам Верховной Власти в силу 86-й ст. основных законов. Словом, все дело было представлено как покушение на расширение прав Государственной Думы в области, ей не принадлежащей. Столыпин постарался не обострять конфликт народного представительства с короной, он его по возможности сгладил. Кредиты были восстановлены в силу 13-й ст. сметных правил, ведомство получило возможность строить суда. Этого не могли простить премьеру враги справа, которые стремились использовать всякий довод, чтобы подорвать прочность нового строя, обострить недоброжелательство к Государственной Думе.

К тому же произошел еще инцидент, который их страшно вооружил против Государственной Думы и Столыпина. Я имею в виду так называемый „конституционный рубль”, незначительный факт, который, однако, имел на нашу внутреннюю политику большое влияние.

Желая выразить неодобрение какому-то из министров, Государственная Дума приняла сокращение на один рубль кредита на содержание личного состава этого министерства. В данном случае мы имитировали практику английской палаты, которая, выражая неудовольствие деятельностью того или иного министра, сокращает содержание его ведомства на ничтожную сумму, которая не может отразиться на работе министерства, но имеет характер порицания министру.

Мы были уверены, что Государственный Совет этот рубль восстановит, ибо сокращение технически не было мотивировано, 13-я ст. см. правил была на стороне Государственного Совета. Однако группа центра Государственного Совета и его левое крыло всецело разделяли точку зрения Думы и это сокращение приняли. Таким образом министерство полу-

чило двойной удар по самолюбию. Вот это обстоятельство страшно раздражило крайних правых, усмотревших в нем попытку внедрения у нас западного парламентаризма. То обстоятельство, что правительство отнеслось пассивно, не выступило против Думы со всей силой своего авторитета, было истолковано как молчаливое соучастие Столыпина в деле расширения прав народного представительства. Поэтому было решено воспользоваться законопроектом о Морском Генеральном Штабе, чтобы не только свести счеты с Государственной Думой, но и сыграть под козыря самому премьеру, дать ему почувствовать опасность совместной работы с Думой и — если он не пойдет против нее, — нанести тяжелый удар его влиянию.

Когда законопроект этот попал на обсуждение в общее собрание Государственного Совета, целый ряд ораторов с крайних правых скамей выступили с резкими нападками на Думу. При этом они воспользовались текстом законопроекта, тем, что в него было включено само штатное расписание нового штаба. Они доказывали, что Морской Генеральный Штаб есть чисто военное установление, его организация принадлежит, в силу 86-й ст. основных законов, прерогативе Верховной Власти, а следовательно, Дума, утвердив штатное расписание, тем самым вмешалась в область, принадлежащую компетенции лишь Верховного Вождя, стремилась узурпировать его власть. Попутно досталось и правительству за то, что оно не противилось этому покушению на права Государя, а молча ему потворствовало.

Если бы Государственный Совет считал, что тут нами допущена ошибка, он мог бы передать законопроект в согласительную комиссию, где, вероятно, не встретилось бы препятствий к урегулированию

разногласия. Но в данном случае дело шло только о том, чтобы использовать текст законопроекта для борьбы против Государственной Думы, чтобы подорвать доверие к ее лояльности, укрепить недоверие Государя к народному представительству, зародившееся еще благодаря тактике Первой Думы. Одновременно стремились внушить, что только одни крайние правые являются истинными защитниками прерогатив Монарха против происков его ближайших слуг, самого премьера, слишком склонного потворствовать Государственной Думе.

Представители морского министерства, присутствовавшие на заседании, набрали в рот воды, законопроект защищал, хотя слабо, один из штатских министров, однако он был отклонен, как попытка покушения на прерогативы Царя.

Мы отлично понимали, что все это было политической интригой, шахматным ходом одновременно против Думы и Столыпина. Его положение тогда было еще настолько прочным, что Государственный Совет не мог рассчитывать, что он сделает ему шах и мат, но все же это было ловким ходом, после которого Столыпину надо было держаться настороже.

Прошло около года. Правительство опять внесло этот законопроект о штатах Морского Генерального Штаба в прежней редакции. Пред нами встал вопрос, что делать. Простейшим решением было бы отклонить законопроект или положить его в дальнюю папку, заставив тем правительство начать усиленные хлопоты о его прохождении. Мы поступили иначе: законопроект был одобрен в редакции, нами однажды принятой. При этом мы мотивировали это примерно так: Государственный Совет ошибался, считая утверждение штатного расписания Штаба за нарушение прерогатив короны. Если бы дело шло о чисто военной или морской строевой организации,

или о каком-либо установлении, принадлежащем к составу вооруженных морских сил, то, может быть, он был бы прав, обвинив Государственную Думу в превышении власти. Но в данном случае дело шло о создании органа, принадлежащего к составу центрального учреждения одного из министерств, составлявшего часть центрального правительства, а не армии или флота. Между тем все центральное правительство в целом и в его частях находится под контролем Государственной Думы в смысле правильности и закономерности его деятельности, почему мы можем вносить запросы о незаконных действиях морского министра. Между тем право запросов не распространяется на чисто военные части или эскадры, их деятельность может быть контролируема только Верховным Вождем. Поэтому имеется громадное различие между Морским Генеральным Штабом, как частью центрального управления, и, скажем, штабом эскадры или морской крепости, — нам, действительно неподведомственной организации. Словом, мы не признавали, что мы ошиблись, а что Государственный Совет, вылив на нас ушаты обвинений, был прав.

Правительство опять промолчало. Когда законопроект поступил в Государственный Совет, там он встретил те же возражения, что и год назад. Но на этот раз правительство не умыло рук в споре. Напротив, от его лица выступил Государственный Контролер Харитонов и в обширной речи поддержал точку зрения Думы. Он тоже рассматривал Морской Генеральный Штаб как часть центральной правительственной системы, как орган правительства вообще.

Это выступление вызвало смятение. Группа центра и на этот раз отделилась от правых своих коллег, она вместе с левыми членами Государственного Со-

вета вотировала за Государственную Думу и за правительство. Законопроект был принят.

Но тут случилось то, чего никто не мог ожидать. Как всегда, председатель Государственного Совета повез законопроект на утверждение Государю. Когда он вернулся, среди правых началось необычное ликование, распространился слух, что законопроект не будет утвержден Государем. Так оно и случилось.

Это было уже явное выражение недоверия и недовольствия по отношению к правительству вообще и Столыпину в частности. Стало очевидным, что в споре между Государственной Думой и Государственным Советом о пределах прав законодательных учреждений Государь встал на сторону крайних правых и против Думы, и против правительства.

Шах против Государственной Думы обратился в шах против премьера, который немедленно подал в отставку. Эта отставка страстно обсуждалась в политических кругах того времени, в частности у нас большинство было того мнения, что Столыпину следовало бы на ней настоять, если законопроект действительно не будет утвержден. Но вышло иначе. В то время престиж Столыпина не был еще окончательно подорван правыми. Государь еще боялся с ним расстаться ввиду незаглохшей еще работы террористов, поэтому он отставки премьера не принял, но и законопроекта не утвердил. Как компромисс последовало приказание создать особое совещание для выработки правил о прохождении законопроектов, касающихся морского и военного ведомств, дабы раз навсегда выяснить права законодательных учреждений и разграничить их компетенцию от прерогатив Верховного Вождя.

Работы этого совещания были опубликованы как инструкция морскому и военному ведомствам,

как, в какой редакции, им надлежит вносить впредь законопроекты в Государственную Думу. С тех пор мы не утверждали штатных расписаний, но принимали законопроекты в такой редакции: „Отпустить столько-то рублей для создания такого-то штаба”, в том числе на содержание начальника штаба — столько-то, на содержание его помощника — столько-то, и т. д., перечислялись все чины штаба и сколько кому назначается. Словом, выходило тоже штатное расписание, только в иной редакции. Однако, если по существу как будто ничего особенного не произошло, на самом деле наша внутренняя политика в корне изменилась. Было сильно подорвано доверие к Столыпину в Царском, это было учтено его врагами, понявшими, что закат его влияния начался.

Еще резче этот случай сказался при следующих назначениях в Государственный Совет. Теперь только голос Председателя Государственного Совета, принадлежавшего к правой группе, принимался во внимание при новых назначениях. Началось систематическое заполнение Государственного Совета только членами, принадлежавшими к крайней правой, постепенное ослабление группы центра, как недостаточно благонадежной. В результате соотношение сил в верхней палате изменилось: правая группа получила абсолютное большинство. С тех пор Государственный Совет не только стал, как его скоро признали, законодательной пробкой, но сделался центром политической интриги против Столыпина вообще. Кульминационной точки борьба премьера с верхней палатой достигла в вопросе о земстве в западных губерниях, но и на этот раз шах королю, т. е. премьеру, не удался.

К началу 1911 года явно обозначился закат влияния престижа Столыпина. Длительная, систематиче-

ски веденная против него подрывная работа крайних правых начала приносить свои плоды. В Государственном Совете организовалось большинство, явно враждебное ему и его политике. Главари этой оппозиции имели поддержку при Дворце, в ближайшем окружении Императорской Семьи. Государю внушалось, что Столыпин слишком менажирует Государственную Думу, слишком гонится за популярностью среди думцев, недостаточно энергично отстаивает прерогативы короны против наших поползновений. Около Царицы работали друзья и приверженцы Распутина, к которому Столыпин относился враждебно, а тот это знал. Но все же его положение казалось крепким, когда внезапно разразился кризис из-за законопроекта о западнорусском земстве. Крайние правые поставили „ва-банк” и проиграли.

Столыпин вновь победил, но это была его Пиррова победа. Подвела его несчастная идея трехдневного роспуска палат для проведения закона по 87-й ст. основных законов.

Это было явной натяжкой, открытым нажимом на закон. Эта необдуманная мера не могла не встретить протеста со стороны законодательных учреждений, весь смысл коих ставился применением подобной тактики под сомнение.

Прежде всего, и крайне резко, реагировал Гучков. Как только он узнал о предположенном роспуске, он полетел к Столыпину, старался всячески отговорить его от этой меры. Он приводил все доводы против проведения закона по 87-й ст. основных законов в течение трехдневного роспуска, указывал на тягостный конфликт, который подобная мера должна вызвать. Столыпин стоял на своем, говорил, что теперь уже поздно перерешать дело, получившее Высочайшее одобрение. Он знал, как не любил

Государь отменять свое решение, как только оно уже стало известно, притом же сам Столыпин предложил эту меру. Тогда Гучков, сам страстный политический боец, забывавший в пылу схватки о последствиях принятых для одержания ближайшего успеха средств борьбы, заявил определенно, что если закон о земстве пройдет таким образом, как предполагал Столыпин, то Государственная Дума отвергнет этот закон, как только он поступит на утверждение.

Столыпин не ожидал этого. Он знал, как наша фракция дорожила этим законопроектом, лучше, чем кто-либо, он понимал, что инициатива исходила от нас, что это мы его заставили внести и провести законопроект о западнорусском земстве. Тем не менее он сознавал, что Гучков бросил эту угрозу не на ветер, что он лидер самой крупной и ответственной группы в Государственной Думе. Он холодно ответил, что если мы отклоним осенью закон, проведенный по 87-й ст. осн. зак., решение его будет определенно и безвозвратно — он выйдет в отставку.

На этом расстались эти два человека, когда-то работавшие совместно, а теперь разошедшиеся навсегда из-за тактического вопроса. Оба они были слишком властны и слишком страстны, оба в момент борьбы не видели леса из-за деревьев. Мне кажется, они больше не видались.

Столыпин свое дело сделал. Законопроект был проведен в течение трехдневного отпуска. Раздражение этой мерой было велико и в Государственной Думе и в Государственном Совете, особенно в последнем. Вокруг Столыпина образовалась пустота. Против него, против его меры, были и правые и левые, хотя и по разным соображениям. Принимая свою неудачную меру, предлагая ее Государю, он

был убежден, что в этой борьбе с Государственным Советом, ставшим „законодательной пробкой“, он найдет определенную, решительную поддержку со стороны Думы, всего прогрессивно-мыслящего общества. Ведь дело шло не только о мере борьбы против законодательной обструкции верхней палаты, не только о борьбе против постоянной оппозиции крайних правых всякой мере, имевшей целью удовлетворение назревших нужд страны, но самая борьба велась на почве закона, близкого сердцу громадного большинства Думы.

Теперь, вследствие тактической ошибки, слишком явного игнорирования смысла и текста закона о прерогативах законодательных палат, он встретился с явной враждебностью и Думы и Совета, с противоестественным союзом обеих враждующих палат, направленных против него, против его меры, которую он предложил Царю, убедил того ее принять, хотя сознавал, что эта мера и там, при Дворе, не вызовет сочувствия, что на нее пошли скрепя сердце, под давлением опасения отставки Столыпина.

Как только собрались палаты, они поспешили внести запросы о нарушении закона, если не буквы его, то его духа, при проведении законопроекта о земстве в порядке 87-й ст. осн. зак. Особенно страстны и жестоки были прения в Государственной Думе.

Перед тем во фракции октябристов произошел надрыв, оставивший след надолго.

Гучков, как только был проведен закон в трехдневный перерыв, демонстративно вышел в отставку, сложил звание Председателя Государственной Думы. Затем он потребовал, чтобы фракция приняла решение отклонить законопроект, как только он поступит на утверждение Думы. Мы знали,

что наш лидер сказал уже Столыпину, что так и будет поступлено в действительности. Перед нами было трудное решение: или поддержать своего лидера — тогда, быть может навсегда, во всяком случае на длинный ряд лет, проститься с мыслью увидеть земство в западных губерниях, или открыто дезавуировать своего лидера и тем открыть кризис внутри партии. Было от чего прийти в величайшее волнение.

Лично для меня вопрос был ясен. Как ни велика была привязанность к Гучкову, с которым нас соединяли многие годы общей работы и личная дружба, мое земское сердце не допускало мысли, что я могу поднять руку на наше общее земское детище. Выбор был ясен. На ту же точку зрения встало большинство фракции, недаром среди нас было 70% земцев. После страстных прений большинство решило, что наиболее правильным исходом будет просто не рассматривать законопроект, когда он к нам попадет. Тем самым он будет лежать под спудом, а земство будет жить и развиваться, причем оно скоро пустит такие корни в жизнь края, что его просто невозможно будет ликвидировать. В качестве компенсации Гучкову было решено предъявить запрос Столыпину и провести все прения в наиболее острой форме, причем сделать голосование запроса и формулы перехода обязательным для членов партии.

Этот компромисс, как всякий компромисс, не удовлетворил Гучкова и принес максимум возможного вреда Столыпину. Гучков был возмущен тем, что фракция его дезавуировала. Он вышел из состава бюро фракции, сложил звание председателя партии и при первой возможности уехал на Дальний Восток.

Запрос Столыпину был принят в Государственной Думе, вставшей тем самым на защиту Государ-

ственного Совета, своего антагониста. Прения, резолюция перехода, все прошло в приподнятых тонах. Сам я в этих заседаниях не участвовал, не слышал речи Столыпина, которую можно было назвать его лебединой песнью. Я уехал в Крым, чтобы не присутствовать на этом заседании, на прениях по запросу, которому я не сочувствовал. Мне казалось более правильным использовать положение для борьбы с Государственным Советом, с крайними правыми в нем, с темными силами, уже начавшими поднимать голову. Для всего этого нужна была поддержка Столыпина, ломать его влияние мне казалось неполитичным. Но у нас рассуждали иначе, из-за деревьев не видели леса, темного и мрачного, надвигавшегося вплотную на Россию.

Дни премьеры были сочтены, отныне стали искать, как и куда его сплавить, кем его заменить.

Наступило лето, Государственная Дума была распущена.

Настала пора, наиболее удобная для всякого рода интриг. Поползли слухи, что начались поиски кандидатов, по крайней мере на должность министра внутренних дел. В Нижний Новгород приехал Распутин, якобы для того, чтобы посмотреть, что собой представляет А. Н. Хвостов, бывший там губернатором, человек еще молодой, принадлежащий к крайним правым и отличавшийся большою решительностью характера. Вот как потом, уже в Четвертой Государственной Думе, рассказывал нам об этой встрече сам Хвостов.

Распутин приехал якобы по поручению лиц, коих он не назвал, но дал понять, что они близки придворному кругу. „Приехал посмотреть, каков ты”, — сказал он Хвостову. Тот знал о влиянии Распутина, принял его наилучшим образом. Поговорив о том, о сем, Распутин вдруг спросил Хвостова, хочет

ли тот быть министром внутренних дел. Хвостов боялся ловушки и ответил уклончиво, что-де об этом говорить не стоит, ведь министром у нас Столыпин, человек молодой и сильный, прочно сидящий на своем посту. Распутин ответил, что „и не такие дубы ломаются, посильнее его люди выходят в отставку”. Тогда Хвостов сказал, что ему страшно стать министром, ведь министров убивают, как убили Плеве и Сипягина, как охотятся теперь на Столыпина, а он пока живет спокойно; „вот какая здесь благодать”, прибавил он, указывая на расстилавшуюся перед окнами панораму. Его собеседник это парировал словами: „Сидишь, пока тебя министр не выгонит, а когда министром будешь, сам других гонять будешь”. Тогда Хвостов сказал, что он за себя боится, очень уж он нравом крут, если кто с ним не поладит, если кто против него пойдет, то он того в куль, да и в воду. Эти слова произвели, видимо, сильное впечатление, его собеседник долго и молча на него смотрел, искоса и подозрительно, и вдруг сказал: „Вот ты каков, этак ты, пожалуй, и меня когда-либо в куль, да в воду”. Потом прекратил серьезный разговор, скоро потребовал телеграфный бланк и написал телеграмму Вырубовой — „видел, говорил, сердце хорошее, но молод, горяч, погодить надоть”*

Тем это свидание и кончилось, Хвостов о нем разблагоевстил. Но были и другие, более серьезные признаки приближающегося увольнения Столыпина. Упорно говорили, очевидно опираясь на осведомленный источник, что ведутся переговоры с старым наместником Кавказа, Воронцовым-Дашковым, о возможности уступки им своего места Сто-

* Очень близкий вариант этого рассказа Хвостова о приезде к нему Распутина передает в своих воспоминаниях и А. И. Гучков. — „Последние Новости”, 6.9.1936. — Прим. ред.

лыпину, дабы облегчить Государю трудный шаг — уволить министра, подавившего революционное брожение, установившего относительный внутренний порядок и наладившего работу с Думой.

Но судьба решила иначе. Прогредел выстрел Богрова, Столыпина не стало. Этот акт террора произвел в нашей среде чрезвычайное впечатление. Убийца был секретный агент охранного отделения, полуреволюционер, полупровокадор, полусотрудник полиции. Было хорошо известно, что после разоблачения Азефа был отдан строжайший приказ не допускать присутствия таких подозрительных агентов — полуреволюционеров, полусотрудников — туда, где находятся Государь и Столыпин. Теперь стало известно, что вопреки этому приказу Богров был введен в театр начальником местной охранки — Кулябко, что было отказано в билете на этот спектакль председателю правления Киевской жел. дороги за неимением билета, а этот билет был передан Богрову. Было известно, что Богров был перед спектаклем вооружен браунингом, выданным из охранки. Все это создавало тяжелую атмосферу подозрений и агитации. Националисты волновались больше всех, многие из них открыто обвиняли охранное отделение не только в бездействии, но и в худшем.

У нас сложилось впечатление, что между тем, что произошло весной в связи с западным земством, и киевской драмой есть какая-то связь. Поэтому ждали с величайшим нетерпением, как пойдет следствие. При этом было заранее сложившееся убеждение, что если следствие не будет доведено до конца, если оно будет прекращено преждевременно, то это будет явным доказательством, что убийство не есть только дело рук революционера, что последний лишь орудие в чьих-то темных руках. Этим объясняется мало кому понятная фраза Гучкова в его ре-

чи по поводу убийства Столыпина: он сказал, что если свет не будет пролит до дна, то надо признать, что „власть есть обреченная власть”.

Следствие было прекращено, истинные виновники не обнаружены, предсказание Гучкова оправдалось.

А. И. ГУЧКОВ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ ВО ФРАКЦИИ ОКТЯБРИСТОВ

Первым председателем Третьей Государственной Думы был Хомяков. Умный, пожалуй, скорее остроумный, скептик по природе, оппозиционно настроенный к Петербургу славянофил московской складки, он был типичным русским барином старого закала. Его оппозиция петербургскому миру, однако, была лишена злобности и ненависти, столь свойственной русской левой общественности, она смягчалась его прирожденной добротой и мягкостью характера, притом развитый государственный инстинкт побуждал его дорожить теми национальными силами, кои создали в течение столетий русское могущество.

В силу этих своих свойств он оказался в рядах октябристской фракции, хотя ее сотрудничество со Столыпиным в начале работ Государственной Думы его порою шокировало. Он примыкал поэтому к левому крылу фракции, был часто в оппозиции ее политической линии, будировал против ее бюро. Но мы знали, что он будет, как председатель Государственной Думы, лояльным и по отношению к избравшему его большинству, и особенно по отношению к Высшей Власти, с которой мы тогда стремились установить сотрудничество и взаимное доверие.

Последнее было трудным делом, слишком были испорчены отношения народного представительства с короной в период первых двух Дум. Хомяков имел свойства приятного собеседника, обладал светским тактом, мы надеялись, что при личных сношениях с Царем он найдет надлежащий язык, что его манера подходить к вопросам с легкой иронией, порой с некоторой насмешливостью, всегда остроумно и без необходимости для собеседника дать немедленно ответ по существу, помогут ему установить добрые отношения с Царем, подозрительным, недоверчивым и относившимся к нам с большим предубеждением. Эти предположения оправдались, но результата, на которой мы рассчитывали, не получилось.

Скоро мы стали остро чувствовать, что личные доклады председателя Государственной Думы не освещали Государю усвоенную нами на те или иные вопросы точку зрения, что недоразумения между Царем и Думой накаплиются, что ее политика не встречает со стороны нашего председателя достаточной поддержки в Царском. Голос законодательного учреждения не доходил с достаточной определенностью до Верховной Власти.

А как раз в это время Государственный Совет вел скрытую, но решительную интригу против Государственной Думы как учреждения и против Столыпина, якобы слишком заигрывавшего с Думой. Противодействия с нашей стороны мы не ощущали, отсюда известное недовольство, которое стало проявляться среди бюро по отношению к Хомякову. Попытки побудить его считаться с пожеланиями бюро были тщетны, Хомякову органически были противны подпольная борьба и дразнки политических противников, с которыми ему нужно было бы бороться, если бы он пошел по пути, на ко-

торый его толкало бюро. Он поступил как избалованный барин — ушел, отряс прах от ног своих.

Его отставка была болезненным и опасным для нашей фракции кризисом. Заместителем Хомякова являлся, в порядке фракционных влияний, Родзянко. Его с первых дней Государственной Думы проводило правое крыло фракции, слабо организованное, но очень многочисленное течение. Эта кандидатура встречала решительное противодействие со стороны левого течения партии, очень активного и способного расколоть нашу фракцию, если бы правое большинство отказалось считаться с мнением меньшинства. С отставкой Хомякова эта опасность становилась первоочередной, т. к. обойти Родзянко было трудно.

Но произошло то, чего мы не ожидали: совершенно неожиданно для нас выставил свою кандидатуру на пост председателя Государственной Думы наш лидер — Гучков.

Положение лидера большинства было гораздо более влиятельным, неизмеримо более активным, чем пост председателя Государственной Думы, т. к. вся политика, вся деятельность законодательного учреждения в то время зависели от решений руководящего ядра нашей фракции, составлявшей основу думского большинства. Гучков был очень активным политическим деятелем, мы не могли ожидать, чтобы он мог удовольствоваться высоким, но пассивным положением председателя Государственной Думы, которое его политически обезличивало, навязывало роль беспартийного руководителя прениями, ставило в необходимость выйти, хотя бы формально, из состава фракции, еще далеко не спаянной и достаточно разношерстной по своему составу.

На посту председателя Государственной Думы Гучков не мог уже отдавать все свое время, все силы работе во фракции и в комиссиях, в том числе в комиссии по обороне, душой которой он до того был. Мы теряли разом руководителя думской работы, искусного председателя фракции, единственного из нас, кому по плечу было сглаживать острые углы внутрипартийных трений.

Словом, кандидатура Гучкова нас резала на смерть. Но мы не могли решительно поставить „вето“ на планы Гучкова. Мы отлично знали характер нашего лидера. При большом уме, талантливости, ярко выраженных способностях парламентского борца Гучков был очень самолюбив, даже тщеславен, притом он отличался упрямым характером, не терпевшим противодействия его планам. В последнем случае он реагировал резко и решительно, становился сразу в позу врага.

Он верил в свою звезду, в свое умение ладить с людьми, подчинять их своему влиянию. Было ясно, что пост председателя Государственной Думы ему нужен для того, чтобы иметь возможность подойти к Государю, постараться путем личного воздействия на последнего разбить лед между Царем и народным представительством, завоевать личное доверие Государя и получить таким путем влияние на внутреннюю политику.

С этими надеждами у него были связаны отнюдь не личные, карьерные расчеты, прежде всего он хотел устранить то междустение, кое все еще существовало между Царем и народным представительством, а также противодействовать тем силам, кои вели тогда подкоп и против нас, и против Стольпины, коего Гучков очень ценил.

А раз Гучков ждал так много от возможности подойти к Государю, то нам было невозможно ему

мешать, хотя большинство не разделяло его надежд, было уверено, что эта попытка кончится провалом, что по пословице — ночная кукушка перекукует дневную. Однако делать было нечего, пришлось примириться. Ведь откажи мы Гучкову в его желании — произошел бы полный разрыв между ним и нами.

Первые доклады Гучкова у Царя имели успех. В то время Государь еще не относился с предубеждением и враждой к лидеру октябристов, он много о нем слышал, ему любопытно было с ним встретиться.

Гучков был интересным, очень осведомленным собеседником, он умел и любил рассказывать, говорить, но не слушать. Царь, как раз наоборот, любил слушать, не высказывать своего мнения, предпочитал задавать вопросы или отделяться короткими репликами, чтобы одобрить собеседника, направить разговор на темы, его интересующие. Интересных для Государя тем у Гучкова было много, недаром он был больше двух лет председателем комиссии по обороне, недаром к нему за все это время стекались всякого рода сведения от официальных и тайных осведомителей. Притом же он прекрасно знал всю подноготную нашей внутренней политики, закулисной борьбы разных сил. Неудивительно, что первые же доклады нового председателя Государственной Думы приняли характер длинных и занимательных для Государя бесед на интересующие Царя темы, иногда даже не имевшие прямого отношения к текущим делам Думы. Царь охотно назначал эти доклады по первой же просьбе Гучкова, встречал его чрезвычайно любезно, милостиво*. Ма-

* Сам Гучков по этому поводу вспоминает: „Вскоре после выборов в 3-ю Гос. Думу, мой брат Николай, бывший →

ло-помалу Гучкову стало казаться, что он завоевывает симпатии недоверчивого Царя, что его доклады имеют успех, что лед начал таять.

Об этих докладах, вернее беседах, становившихся все более интимными, доверительными, Гучков обычно делился в тесном кругу своих ближайших политических друзей. Конечно, мы умели молчать: все, что нам рассказывал Гучков, оставалось в строгой тайне.

Гучков, видимо, был уже почти уверен, что его стратегический план удастся, что лед между Царем и им, как представителем Государственной Думы, стал таять.

Но тут вдруг произошел обвал.

Однажды Царь встретил Гучкова необычно мило-стиво, доверчиво, долго и весело с разговаривал на разные темы, свободно высказывал свое мнение. Гучков вернулся чрезвычайно довольным, он явно был в сильно повышенном настроении, ему казалось, что отныне он кампанию выиграл.

Ему, видимо, очень хотелось поделиться своим успехом, своими надеждами не только с нами, с тесным кружком его всегдашних сотрудников, но хотя бы отчасти и с более широкими общественными кругами. Словом, он не выдержал обычной осторожной линии, рассказал о своей беседе с Царем многим лицам, членам сеньорен-конвента, как у нас называли представителей фракций при президиуме Государственной Думы. Точно теперь не помню кто, но кто-то разболтал все, что слышал от Гуч-

тогда московским городским головой, представился Государю и Государыне. На приеме Государь сказал моему брату: „— Я узнал, что брат ваш выбран в Думу. Мы очень этому рады”. А. И. Гучков. Из Воспоминаний. „Последние Новости”, 19 августа 1936. — Прим. ред.

кова. Все это дошло до сведения печати, на другой же день было подробно напечатано в газете, притом с такими подробностями, что было ясно, откуда могли получиться эти сведения. Хуже всего было то, что преданы гласности были не только факты, о которых шла речь, но и некоторые мнения, высказанные Государем.

Наши политические противники уже давно с негодованием и опасением смотрели на эти повторные и продолжительные беседы Царя с Гучковым, теперь они воспользовались оплошностью, появлением в печати сущности одной из бесед. Соответствующий номер попал на глаза Государю. Реакция была необычайно сильная.

Всегда недоверчивый Государь, едва начавший привыкать к новому и подозрительному по своему положению думца собеседнику, сразу от него отшатнулся. Факт оглашения в печати его интимной беседы он воспринял как оскорбление, как предательство. Он круто и резко изменил свое отношение к Гучкову, стал относиться явно враждебно.

Когда Гучков опять добился, не без труда и проволочек, очередной аудиенции, Государь встретил его стоя, холодно, сухо, чисто формально. Едва выслушав очередное дело, доклад о текущих вопросах, он поспешил отпустить председателя Государственной Думы.

Было ясно, что он не желает больше разговаривать с Гучковым, что едва наладившиеся отношения оборвались, притом безвозвратно. Попытка перекинуть мостик между Царем и Государственной Думой потерпела крушение.

Вместе с тем рушились и все планы Гучкова, ради достижения коих он сел на председательское кресло, отказался от активной работы в партии и в ко-

миссиях, от решающего до того руководства всей политикой Государственной Думы.

За время пребывания Гучкова на председательском посту фракция испытала много тяжелых минут, его заменивший во фракции младший товарищ председателя — Анреп не имел ни достаточного престижа, ни умения руководить разношерстной фракцией из 160 членов. Мы пережили много внутренних трений, пока жизнь не утряслась, пока в составе бюро не сорганизовалось небольшое ядро, я бы сказал, род партийной олигархии, которое и взяло в свои руки дирижерскую палочку. Оно повело политику, не всегда совпадавшую с видами и желаниями Гучкова. Словом, он утратил и во фракции ту власть, то беспредельное влияние, которые имел до решения сесть на место председателя Думы. Теперь он почувствовал, что этот его шаг был большой ошибкой, он только углубил разрыв между Царем и Думой, повел к крушению личного престижа ее председателя. Вместе с тем он воспринял перемену отношения Государя к нему как личную кровную обиду. А он не был из тех, кто умеет прощать или забывать обиды. В этом отношении оба они — и Царь и его подданный — походили друг на друга, оба имели одинаковое свойство характера. С тех пор взаимные отношения этих двух людей начали быстро и неуклонно портиться, начала нарастать вражда, личная неприязнь.

Как всегда, вражда открывает глаза на слабые стороны врага, заставляет не видеть и не ценить положительных. Мало-помалу Гучков начал видеть в Государе, в личных свойствах его характера, основную помеху благополучию страны.

Он стал явно тяготиться ролью председателя Думы, искать предлога отказаться от этого почетного поста. Такой случай скоро представился.

Государственный Совет отклонил законопроект о западном земстве, последовал трехдневный роспуск палат и проведение закона в порядке 87-й ст. осн. зак.

Гучков был резко против такого „нажима” на закон и законность, он протестовал всеми зависевшими от него способами, но Столыпин уперся, закон был проведен в этом порядке. Гучков немедленно в виде протеста подал в отставку, которая была учтена не только как протест против Столыпина, но и как протест против Царя, утвердившего закон. Гучков это признавал, но он уже не стеснялся, корабли все равно были сожжены*.

Вернувшись во фракцию, он скоро убедился в происшедшей там перемене. Когда он решительно потребовал, чтобы мы отклонили имевший поступить на утверждение Государственной Думы законопроект о западном земстве, только что проведенный в порядке 87-й ст. осн. зак., мы воспротивились, Гучков остался в меньшинстве. Он отказался от звания члена бюро фракции и ее председателя и уехал на Дальний Восток.

Когда он вернулся осенью в Государственную Думу, Столыпина уже не было в живых. Гучков вновь был избран председателем фракции, но бывших отношений восстановить было нельзя.

Сам Гучков начал резко переходить в оппозицию правительству и самому Государю. Скоро последовала его речь о Распутине, которая была полной неожиданностью для фракции и ее бюро. У нас ее квалифицировали как „удар по алькову”. Было ясно,

* А. И. Гучков по этому поводу пишет: „Столыпин очень удивился моей отставке. Он не понимал ее смысла, так как закон был издан в том виде, в каком он прошел через Думу”. „Последние Новости”, 30 авг. 1936. — Прим. ред.

что в Царском ее не забудут, что отныне не только Гучков, но вся Дума имеют непримиримого врага з лице Государьни, что последняя надежда на улучшение отношений между Царем и народным представительством навсегда утрачена.

Когда состоялась прощальная аудиенция Государственной Думы, Царь сделал вид, что не знает Гучкова, прошел мимо, не подав руки. Тот это отметил в своем сердце, ненависть между двумя людьми все углублялась.

Им пришлось еще раз свидеться в трагической обстановке, именно — в Пскове в царском поезде, когда Гучков приехал требовать от имени восставших сил Петрограда отречения Государя.

Так печально, трагически кончилась эта попытка личного общения председателя Государственной Думы Гучкова с Государем. Я могу только засвидетельствовать, что в тот момент, когда Гучков выставил свою кандидатуру в председатели Государственной Думы, он был верным и лояльным слугой своего Царя, страстным патриотом, готовым пожертвовать всем ради блага родины и славы своего Государя.

Кто знает, если бы в свое время Гучков не совершил роковой неосторожности, если бы Государь не оттолкнул, а приблизил к себе этого сильного и активного политического деятеля, быть может, наша история пошла бы по иному пути.

При избрании президиума и бюро фракции октябристов я вошел в состав руководящего партийного органа в качестве секретаря, поэтому мне пришлось с самого начала деятельности Государственной Думы принять участие во всех его заседаниях. На меня, провинциала, чуждого петербургских канцелярий и далекого от министерских сфер, произвело

большое впечатление то обстоятельство, что наш фракционный телефон находился в постоянном контакте с телефоном № 101, под коим, как мне известно, значился номер телефона в личном кабинете Столыпина.

Я не удивлялся тому, что наш лидер — Гучков — время от времени звонил по этому телефону, беседовал с премьером. Мы пришли в Государственную Думу не бороться с правительством, а для того, чтобы помочь Столыпину в его борьбе за порядок и законность против революционной волны, уже шедшей на убыль, но далеко еще не лишенной опасности. Сверх того мы сочувствовали многим реформам, намеченным премьером, которые он уже успел выработать и внести во Вторую Думу. Естественно, мы встретились в Государственной Думе как союзники, разговоры представителя фракции с главой власти были желательны и необходимы.

Но меня удивляло то, что по тому же телефону постоянно звонил, притом в форме известной фамильярности, рядовой член фракции — гр. Уваров.

Уваров сразу же обратил на себя мое внимание. Это был средних лет человек, видимо, неглупый, ловкий и хитрый карьерист, легко владевший словом, хотя его нельзя было причислить к талантливым ораторам. Он проявлял большую активность, напористость в отстаивании своих предложений, старался выделиться и занять одну из командных высот в партии. Ему это определенно не удавалось, чувствовалось к нему какие-то недоговоренное предубеждение, недоверие. Мне тоже он определенно не нравился. Было в нем что-то неприятное, отталкивающее; глядя на него, хотелось сказать — какие у него повадки волка.

Его постоянное стремление к саморекламе, его козыряние мнимой или действительной близостью

к премьеру меня шокировали. Все его попытки добраться до одного из руководящих в партии постов оказались тщетными: не помогли ни настойчивость, ни способность продираться хотя бы локтями туда, куда ему хотелось сесть. Он остался за флагом, должен был удовлетворяться положением рядового члена фракции. Это обстоятельство его, видимо, раздражало, его тщеславие было уязвлено, он занял позицию партийной оппозиции всему, что проводило наше бюро. Он усиленно работал во фракции, стремился противопоставить свою волю мнению бюро, интриговал, вел подпольную борьбу.

Очень скоро эта борьба для него оказалась непосильной, авторитет бюро окреп, а личные свойства Уварова заставили от него отшатнуться тех, на поддержку коих он рассчитывал. Именно, наши требования к прошлому членов фракции были тогда очень повышенные, а сведения с Волги, из губернии, избравшей Уварова, не могли поднять в нашем мнении его репутацию. Притом его подчеркивание близости к Столыпину от него отталкивало, в этом факте видели известного рода хлестаковщину, тем более, что очень скоро убедились в том, что никакой особой личной близости между ними не было, лишь простое знакомство прежних лет, — вероятно, восходившее к времени, когда премьер был губернатором.

Мы были союзниками Столыпина, но не хотели быть его вассалами. Мы старались работать с правительством, но отказывались быть под его опекой. Мы готовы были провести в жизнь реформы и законопроекты, выработанные Столыпиным, т. к. они отвечали нашему пониманию пользы для государства, но указаний от него получать не собирались, слишком мы дорожили своей политической независимостью. Поэтому присутствие среди нас че-

ловека, которого мы считали агентом или осведомителем премьера, было нам неприятно, опасно. При нем невольно язык прилипал к гортани каждый раз, когда поднималось обсуждение вопроса, долженствующего остаться между нами.

Так как Уваров продолжал постоянно бороться против предложений бюро и его председателя, особенно в вопросах, вызывавших расхождение взглядов между нами и премьером, то отношения руководящей головки фракции с ним явно портились. Особенно резко это сказывалось на его отношениях с Гучковым.

Гучков вообще был очень властным человеком, он не терпел противодействия своим планам, раздражался, резко реагировал в таких случаях. Уварова он сразу возненавидел, презирал за его стремление выставить себя близким к Столыпину человеком.

Между ними, видимо, возникла с первых дней Государственной Думы борьба, соперничество, которое очень скоро привело к полной изоляции Уварова, вокруг коего образовалась пустота. Он завял, реже стал появляться во фракции, но не вышел из ее состава, что-то ему мешало это сделать.

Но когда на очереди были острые вопросы, когда мы проводили политику, расходящуюся с видами Столыпина, он неизменно появлялся в нашей среде, отстаивал позиции вразрез с планами бюро, противодействовал ему, как мог. Хотя эти попытки заранее были обречены на неудачу, они выводили из себя властного лидера, смущали нас, так как мы были уверены, что все, у нас происходящее, завтра же будет известно на Фонтанке.

Чтобы положить конец такому ненормальному положению вещей, следовало бы заставить Уварова уйти из фракции, но сделать это было трудно; с не-

которых пор он стал очень осторожен, не давал поводов к нему придраться.

События шли своим чередом, отношения между Гучковым и Уваровым все ухудшались. Отзывы нашего лидера о графе становились все более резкими, оскорбительными. Надо было ждать острого между ними столкновения, достаточно было видеть, какой ненавистью загорались глаза Гучкова, как только его взор останавливался на тучной фигуре графа.

Это ненормальное положение разрешилось неожиданно, грубо, едва не привело к кровавой развязке.

Однажды я встретил утром Гучкова в круглом зале Таврического Дворца, он ходил под руку с Звегинцевым. Увидя меня, он подозвал и тоже взял под руку. Так мы продолжали ходить взад и вперед, Гучков рассказывал какой-то случай, не имевший большого значения, он, видимо, тянул время, чего-то ждал, хотя председательский звонок давно звал нас в зал заседаний.

Вдруг он круто повернулся на месте, направился к входу в зал со стороны шинельной. Там в дверях стоял гр. Уваров. Гучков, не выпуская нас со Звегинцевым, направился прямо к нему. Тот, завидя нас, пошел навстречу, улыбаясь и, видимо, имея намерение с нами поздороваться. Тут произошла безобразная сцена.

Гучков не подал руки Уварову, протянутая тем рука осталась в воздухе. Резким металлическим голосом он отчеканил по адресу Уварова невозможное оскорбление.

Тот побледнел, повернулся на каблуках и быстро направился к выходу.

Я пережил, как невольный свидетель этого инцидента, гнетущее чувство. Было ясно, что Гучков, наскучив постоянным противодействием Уварова во

фракции, его ролью агента министра внутренних дел среди депутатов-софракционеров, решил от него отделаться путем доведения столкновения до дуэли. Гучков всегда был очень храбрым человеком, чувство самосохранения не было у него развито, в прошлом были уже у него случаи явного спровоцирования дуэли. Он считался прекрасным стрелком из пистолета, умел ненавидеть и доводить свою ненависть до логического конца. Было очевидно, что отныне развязка не заставит себя ждать, что Уваров не может проглотить такого оскорбления, что дуэль неизбежна, а тогда кровавый исход более чем вероятен.

Прошло несколько дней, но о дуэли мы не слышали. Уваров во фракции не появлялся, но никаких мер не предпринимал. Однажды Гучков во время очередного заседания Комиссии (я обычно сидел рядом с ним) показал мне копию письма, которое он только что отправил Уварову. В нем Гучков писал, что все эти дни ждал секундантов от Уварова, но так и не дождался. Теперь он предупреждает, что если так будет продолжаться, он вынужден будет принять меры физического воздействия.

Очевидно, Уваров боялся дуэли, ее избегал, а Гучков решил его к ней принудить. Признаюсь, эта настойчивость в решении отделаться от политического противника путем пистолета мне не нравилась, произвела на меня тягостное впечатление. Гучков это понял, сделал соответствующий вывод и, когда через день после письма к нему прибыли секунданты Уварова, он указал со своей стороны своими секундантами Звегинцева и Крупенского.

Дня через два должна была наконец состояться эта дуэль, но она не осуществилась: кто-то предупредил полицию о месте и времени дуэли, прибыв-

шие противники и секунданты были встречены властями и принуждены разъехаться.

Но Гучков уже закусил удила, он поехал объясняться со Столыпиным. Переговоры о дуэли продолжались.

Наконец неизбежное совершилось.

Шло очередное заседание Комиссии по Обороне. Я сидел рядом с Гучковым, который как ни в чем не бывало руководил самым хладнокровным образом прениями, сам принимал в них деятельное участие. Против нас сидел ген. Поливанов, который как-то вопросительно на нас смотрел. За полчаса до перерыва Гучков вдруг сказал мне, что ему необходимо на время удалиться, что он передает председательствование Хвощинскому. После этого он встал и ушел, никто не обратил на это большого внимания, только ген. Поливанов нервно задергал плечом, повернулся всем корпусом на стуле и смотрел вслед уходящему Гучкову. Видимо, он что-то знал. Завтракали мы по обыкновению все вместе, депутаты и представители правительства. Поливанов сидел рядом со мной. Вдруг подошел ко мне курьер и сказал, что меня просят к телефону.

То был Гучков, он мне сообщил, что дуэль состоялась, что он цел, но, к сожалению, „как следует не удалось продырявить Уварова”, последний получил лишь ожог, царапину на спине.

Когда я вернулся, довольный этим исходом, Поливанов не выдержал и спросил тихо: „Цел?”. Я ответил, что „да”. Поливанов перекрестился. Было очевидно, что правительство было осведомлено о дуэли, но решило на этот раз ей не мешать. Выходя из буфета, я встретил только что вернувшегося в Таврический Дворец депутата Львова, одного из секундантов Уварова. Он весь еще был под впечат-

лением только что пережитого, потрясен тем, что произошло. С негодованием рассказывал он, что никогда не подозревал, что ему придется видеть, как хладнокровно и с намерением убить противника Гучков выцеливал Уварова.

К счастью, секунданты приняли кое-какие меры, чтобы смягчить условия дуэли, они выбрали гладкоствольные пистолеты без мушки, отмерили шаги возможно крупные.

В результате пуля Гучкова только чиркнула по спине Уварова, который стоял боком, чтобы уменьшить площадь для прицела противника. Она прошла под кожей по клетчатке и жировым тканям, но кровь была пролита, секундаты объявили дуэль конченной.

Политическая цель, которую себе поставил Гучков, добиваясь дуэли, была достигнута: Уваров вышел из фракции, с тех пор он стал политически мертвым человеком, его провал на следующих выборах был обеспечен.

Эта история имела свой эпилог.

Противников судили, Уваров был оправдан, а Гучков приговорен к четырем месяцам заключения в крепости. К этому моменту он был уже председателем Государственной Думы, поэтому выполнение приговора было отсрочено до летних вакансий. Летом Гучков сложил с себя звание председателя Государственной Думы и сел в крепость. Через две недели, много через три, Государь его помиловал, освободил от дальнейшего заключения. У меня долго хранилась открытка с видом Петропавловской крепости, где рукою Гучкова было отмечено окно бастиона с надписью „моя камера”.

Так благополучно кончилась эта печальная дуэль.

При выборах в Четвертую Государственную Думу партия октябристов понесла чувствительный урон. Не только число ее представителей в Думе сократилось примерно на треть, хуже было то, что не прошли наиболее яркие депутаты Третьей Государственной Думы, которые составляли в ней активное ядро партии, входили в руководящую ячейку фракции, имена коих чаще всего появлялись в думских отчетах. В числе забаллотированных был и лидер нашей фракции, Гучков.

Этот погром объяснялся многими причинами, из коих две бросались в глаза. Правые выборщики, с которыми мы по-прежнему стремились составить выборный блок, под давлением своих партийных вождей сплошь и рядом отказывались голосовать за октябристского кандидата, особенно если он принадлежал к левому крылу фракции. При прямых выборах в городах наши кандидаты тоже потеряли голоса правых, на коих мы опирались при выборах в Третью Думу. Это было следствием разрыва между нами и лидерами правой партии в начале Третьей Думы.

Вторым условием неуспеха многих видных членов нашей фракции было давление администрации на выборы. У меня нет оснований утверждать, что правительство в целом или по крайней мере министр внутренних дел дали указания губернаторам провалить тех или иных кандидатов из нашей среды. Но было бесспорным, что местные губернские власти, прекрасно осведомленные о том крайне отрицательном отношении, которое создалось к Гучкову и его окружению в Царском Селе, старались изо всех сил сделать приятное высшим властям, чиня всяческие препятствия успеху „гучковцев”. В

ход были пущены всевозможные средства, вплоть до нажима на закон, до аннуляции, хотя бы на несколько дней, избрания ряда выборщиков, иногда целых уездов, с тем расчетом, чтобы за это время, пока сенат не восстановил прав выборщиков, могли произойти выборы в губернском избирательном собрании без участия выборщиков, избрание коих было кассировано.

Как бы то ни было — результат получился для Четвертой Государственной Думы печальный. По-прежнему фракция октябристов занимала центральное положение в Государственной Думе, без нее никакое большинство, никакая работа не были возможны. Численно она была самой сильной фракцией в Думе, но качественно чрезвычайно отличалась от своей предшественницы в Третьей Думе. Состав ее был серенький, отсутствовали многие яркие фигуры, в том числе и Гучков.

Наладить при таких условиях работу законодательного учреждения было трудно, не было среди нас никого, кто мог бы взять дирижерскую палочку, вести работу по внутреннему сплочению фракции и направить политику ее по определенному руслу. Естественно, на первых порах депутаты Третьей Государственной Думы старались захватить если не главенство, то хотя бы положение инструкторов по организации парламентской работы. Но это оказалось не так просто, как казалось. Большой процент новых людей внес новую струю, они принесли свои выборные настроения. У одних было раздражение против правых, у других против левых, третьи с негодованием говорили о давлении на выборы со стороны губернаторов.

Это вело к усилению розни внутри, к появлению более определенной оппозиционности к власти. О сотрудничестве с ней, как то было в начале Третьей

Думы при Столыпине, не могло быть и речи, слишком много горечи осталось после выборов. С преемником Столыпина установились вежливые, но холодные отношения, не то что ему не доверяли, а просто сознавали, что не он главная сила, не он определяет политику власти. Если прибавить отсутствие среди нас сильного и авторитетного человека, могущего быть лидером, станет понятным тот разброд, который наблюдался в руководящей фракции Четвертой Государственной Думы.

Конечно, за пять лет работы Думы выработались известные навыки, известная традиция, которые помогли нам кое-как наладить текущую деятельность законодательного учреждения. Настоящего большинства в Думе не было, приходилось от случая к случаю набирать достаточное число голосов, чтобы провести в жизнь то или иное законодательное предположение. Так как прежней отчужденности от кадет уже не наблюдалось, соглашения с оппозиционными фракциями стали столько же возможными, как и с правым крылом.

Благодаря этому, мы сторговывались с одними о проведении одних мероприятий, с другими о поддержке иных законов, — словом, маневрировали, как могли. Все было основано на торге, на соглашениях, на компромиссах. Естественно, это вызывало неудовольствие то в той, то в другой группе, болезненно отражалось на внутренней сплоченности фракции. Ее правое крыло, полное прежнего неприемлемого отношения к левым, особенно к кадетам, негодовало, что фракция соглашается с левыми, что она становится в позу оппозиции к ряду министерств. Среди левого течения, численно ослабленного, но еще не забывшего о той руководящей роли, которую оно имело в Третьей Государственной Думе, назрело чувство обиды и разочарования

при виде усилий центральной группы поддерживать равновесие между правым и левым крыльями, стремление сгладить отношения с министрами казалось им чем-то вроде предательства по отношению к их „разъясненным” коллегам. Последние, обиженные и оскорбленные, оставшиеся за флагом думской деятельности, но продолжавшие иметь общение с своими друзьями по Третьей Думе, толкали наше левое крыло на шаги против власти, от них приходилось теперь слышать лозунг „чем левее, тем лучше”. Словом, постепенно назревал если не раскол, то, по крайней мере, дух оппозиции тому ядру, новому бюро, которое в порядке текущей работы было выдвинуто центральным течением фракции.

Так прошло около года.

В это время председатель партии Гучков, оставшийся за бортом политической активной деятельности, не складывал рук. Он был волевой, активный политический борец, напрасно власти и правые, способствовавшие его провалу на выборах, думали этим его отстранить от реальной жизни. Он начал искать и нашел приложение своим недюжинным силам. Сперва он прошел в петербургскую городскую думу, где занял сразу влиятельное положение председателя комиссии по постройке водопровода. Затем он добился выбора в члены Государственного Совета от промышленности и торговли. Но это положение, эта деятельность, недостаточно боевая, его не удовлетворяла. Он переживал настроения, которые его роднили психологически с резко выраженными оппозиционными течениями общественности. Еще в Третьей Государственной Думе он кончил тем, что встал в явно оппозиционную позицию к власти, постепенно у него нарастало сознание, что правительства, министры, — все это не является основной причиной того, что мешало государствен-

ному кораблю идти по пути, который должен был вести к развитию благополучия и мощи отечества. Сам сильный, страстный, он возмущался отсутствием определенности и слабостью воли носителя Высшей Власти. По своему характеру Гучков не выносил противодействия своей воле, своим убеждениям. Он не умел быть снисходительным к инакомыслящим, они для него становились немедленно врагами, которых надо сокрушить, сломать, сбросить со своего пути.

Посвятив все свои силы, все свое внимание делу укрепления нашей военной мощи и развитию конституционной жизни внутри, он пришел к убеждению, что Царское Село, поддерживая ничтожного и опасного для обороны государства Сухомлинова, относится безразлично к подлинному развитию военной силы, что, усиливая крайних правых в Государственном Совете и подбирая министров вроде Маклакова, Щегловитова, Саблера, власть идет по пути борьбы с народным представительством, имеет в виду ослабить, если не свести на нет, то, что она дала в манифесте 17 октября. Словом, постепенно он встал в оппозицию уже „его величеству”.

Естественно, позиция Четвертой Думы ему не нравилась. Хотя там не было того стремления к сотрудничеству с властью, которое он проводил в начале Третьей Думы, но и оппозиционное настроение не было достаточно ярким, как ему бы того хотелось. Он оставался главою Союза 17 октября, лидером, если не фракции, то партии в целом. Попытки влиять на наши дела со стороны ни к чему не приводили, между ним и центральным течением фракции, наиболее численно сильной группой ее, наметилось глубокое психологическое расхождение.

Он решил действовать решительно, как всегда быстро и для своих противников неожиданно.

В качестве председателя партии он решил созвать партийную конференцию, которая должна была обсудить политическое положение в стране и дать своей фракции руководящие директивы.

По положению, в конференции участвовали, кроме специально выбранных делегатов, члены центрального комитета партии и все члены законодательных палат, принадлежавших к партии, в том числе все третьедумцы.

Эта конференция состоялась и превратилась в судище над нами, четверодумцами. Положение было трудное. Проявлялись очень резкие тенденции, исходящие от лиц, не ответственных за судьбу Государственной Думы и за те государственные интересы, которые с ее деятельностью были связаны.

Отношение к текущему моменту у думцев и у лиц посторонних было различное, психология у оставшихся за бортом думской работы и у нас, членов Государственной Думы, совсем иная. Гучков ловко вел прения, он сам выступал мало, но его политику проводили преданные его идеям люди, нападавшие не только на правительственную политику, но и на отношение к ней думской фракции. Настроение нашего правого крыла совершенно не соответствовало общему течению, господствовавшему на конференции. Между его представителями и большинством определился резкий идейный раскол. Но все как-то удалось замазать. Провинциальные представители не были склонны вызывать раскол в партии и во фракции, к чему явно клонило левое крыло, имевшее целью отбросить правых октябристов, подчинить своей воле многочисленный, но слабо организованный центр и бросить фракцию резко налево, вплоть, быть может, до полного слияния с левым блоком, если не до подчинения нашей фракции директивам оппозиционных групп.

В конце концов вся конференция кончилась ничем: люди поговорили, произвели сотрясение воздуха, взаимно друг к другу набрались неприятного чувства и разошлись. Резко, очень резко критиковали политику власти, высказывали по ее адресу ряд осуждений и предостережений — и только. Никаких связывавших фракцию директив дано не было. А для нас это было главной целью — сохранить свободу решений.

План Гучкова, тогда для меня неясный, не осуществился. Не произошло ни откола правого фланга, ни установления директив, вынуждавших фракцию идти по пути, которым она спровоцировала бы роспуск Думы.

Говоря откровенно, я вздохнул свободно. В то время меня интересовали исключительно вопросы усиления армии и флота, все остальное казалось мелким, ничтожным в перспективе той борьбы титанов, которая неотступно стояла пред моим умственным взором. Все сведения, кои до меня доходили, приводили к неизбежному выводу, что не далее 1915 года, может быть, немного ранее, когда военная мощь Германии будет подавляющей, мы должны ждать трагических событий. Поэтому всю свою политическую деятельность я подчинил интересам подготовки государства к международной борьбе, к великому экзамену, который нации предстояло держать. Естественно, обострение внутренних настроений, усиление партийной борьбы и оппозиционных настроений против власти не могло входить в мои цели. Гучков тоже сознавал, что роковой час экзамена близок, но логического вывода он из этого не делал. Слишком он был страстный человек, слишком коренной москвич. Для него было ясно, что существующая власть, особенно ее высший Носитель, мало пригодны для того, чтобы под-

готовить страну к великой борьбе, чтобы успешно ее вести и довести до конца. Отсюда его отношение, которое можно было характеризовать одним словом — „долой!”

Во время этой конференции он говорил мне: „Власть идет по роковому пути. Она не сознает, что приведет к революционному выступлению внутри, чем соседи воспользуются, нападут, и тогда прощай Великая Россия. Или соседи в расчете на нашу внутреннюю рознь спровоцируют войну, и тогда вспыхнет народная революция, которая все снесет”. При этом он передал мне свой разговор с Кассо, министром народного просвещения.

Кассо на упреки Гучкова, указывавшего, что политика власти может привести к вспышке революционных страстей, ответил — „да, революция возможна, но умный будет тот из нас, кто вовремя переберется за границу”.

Гучков негодовал на этот ответ, говорил — вот они, негодяи, сбегут, а мы, связанные бесчисленными нитями с родиной, будем расхлебывать кашу, ими заваренную.

Он пытался убедить меня в необходимости встать на резко оппозиционную позицию, считал, что только такой тактикой можно остановить власть на том скользком пути, на который ее толкали реакционные силы. Я соглашался с ним в его оценке положения, политики власти, но не видел выхода в применении его методов. Напротив, я старался доказать, что этим мы еще больше и резче толкаем власть направо, вплоть до попыток полной ликвидации зачатков конституционных свобод, дарованных манифестом 17 октября. Было ясно, что политические наши пути начали определенно расходиться, что как-то и формулировал Гучков с полной откровенностью. Наши личные отношения не изменились,

они оставались дружественными, но прежней близости, особенно в вопросах политических, не было. Нас продолжали сближать заботы об интересах обороны страны: несмотря на оппозиционный уклон, Гучков оставался все тем же страстным патриотом, он сознавал опасность международного положения, знал о нашей относительной военной слабости, всемерно одобрял мою работу в Думе по усилению армии и флота. Но он считал, что, пока во главе военного ведомства стоит Сухомлинов, армия, любимое детище Гучкова, не может быть доведена до желанного совершенства. Вместе с тем он в личных свойствах Государя видел помеху попыткам удалить Сухомлинова. Отсюда, гораздо больше чем из-за личных антипатий или обид самолюбия, зародилось его резкое, непримиримо враждебное отношение и к правительству, и к Двору.

Словом, все как будто оставалось в прежнем положении. Опасность превращения Думы в оппозиционно настроенное учреждение, поставившее своей целью безудержную борьбу с властью, которая рано или поздно должна была кончиться досрочным роспуском и новыми выборами в крайне невыгодной для центра обстановке, отпала окончательно.

План лиц, оставшихся вне Думы и стремившихся вызвать ее крушение и преждевременный роспуск, не удался.

Отныне мы знали, что работа законодательного учреждения пойдет нормальным путем. Правда, нельзя было себе делать иллюзий, отношения с властью были сильно испорчены, центральное правительство было еще очень сильно, следовательно, многие министры, учитывая это, стремились укрепить свое положение путем игнорирования Государственной Думы или даже явной борьбы против

нее. Конечно, работа от этого очень страдала. При этом же нажим крайней правой продолжался вовсю, что ярко сказалось на провале законопроекта о самоуправлении в Царстве Польском.

Тем не менее кризис Думы был пережит благополучно. В стране никто этого, по-видимому, даже не подозревал, для публики было просто непонятно, почему люди, работавшие в Третьей Думе мирно и рука об руку, вдруг перегрызлись и раскололи свою фракцию на три группы.

Для меня началась трудная и ответственная пора. Фракция фактически осталась без лидера. Единственным человеком, который мог бы ее вести, который имел должный авторитет и подготовку, был Алексеенко, но он решительно от этой роли отказался. Он был уже стар, прихварывал, притом всецело ушел в работу Бюджетной комиссии, председателем которой был с самого начала Третьей Государственной Думы. Родзянко, самый влиятельный из нас член фракции, пожелал остаться председателем Государственной Думы. Это положение обязывало его отойти от текущей работы фракции, мешало встать во главе ее, ему нужно было, хотя бы формально, оставаться вне партии, нейтральным представителем законодательного учреждения.

Словом, у нас не оказалось главы.

Правда, было избрано бюро, многоголовая коллегия, которая официально встала во главе фракции, но такая коллегия не могла заменить лидера, руководителя партии, который мог бы направлять политику фракции, принимать в должный момент ответственные решения, говорить от имени своих коллег.

В Третьей Государственной Думе я был секретарем партии — следовательно, ближайшим помощником председателя фракции, в Четвертой Думе я

был избран товарищем председателя бюро фракции, и теперь на меня пала тягостная ответственность заменять, хотя бы временно, отсутствующего председателя фракции. Но для этого у меня не было ни достаточного авторитета внутри фракции, среди моих коллег, ни вкуса к власти, умения принимать быстрые решения и проводить их в жизнь. Я был слишком поглощен своей непосредственной работой в военно-морской комиссии и все, что меня от этой прямой задачи отвлекало, было мне невыносимо тягостно. Конечно, я по мере сил выполнял текущую работу по составлению и выполнению плана деятельности Государственной Думы, вел нужные переговоры с другими партиями, сторговывался с соседями для нахождения нужного большинства и так далее. Но на роль руководителя партией я не претендовал, от этой чести всячески уклонялся. Так мы и остались без лидера.

Пока положение было нормально, пока мир не был нарушен, особого неудобства я не замечал. Я всегда имел возможность вовремя созвать бюро, провести в нем тот или иной вопрос, тот или другой план работ Думы.

Но когда началась война, положение круто изменилось.

Нужно было, чтобы кто-то мог говорить с правительством от имени, если не Государственной Думы, то хоть от ее влиятельного большинства. А такого человека не было. Это привело к тому, что очень скоро Родзянко, чувствуя свою фактическую безответственность перед обезглавленной фракцией, усвоил манеру говорить от имени Думы. Постепенно он начал привыкать к мысли, что — „Государственная Дума — это я, Родзянко”. Не встречая противодействия, сознавая, что другой решающей воли во фракции нет, он все больше отождествлял

свои мысли с волей большинства, у него развивалось и укреплялось самомнение, самоуверенность, он перестал считаться со своими коллегами, выдавал свое личное мнение за „голос Государственной Думы”.

Долгое время это не вызывало особых неудобств.

Первое столкновение — правда, мимолетное — произошло у меня с ним, когда в конце 1916 г. начались разговоры об ответственном министерстве, когда явились надежды, что Власть наконец решится опереться на народное представительство. Родзянко решил, что это он должен составить список нового правительства, подобрать и рекомендовать Государю кандидатов на министерские посты. Он мне в порядке доверительного показал этот список и был крайне удивлен и возмущен, когда я ему ответил самым решительным образом, что составление и обсуждение списка кандидатов не входит в его полномочия, что это дело президиума прогрессивного блока, что лично я сделаю все возможное, чтобы исключить из его проекта министерства ряд лиц, им намеченных, что вообще он ошибается, если думает, что он может единолично решать столь важный вопрос.

Родзянко был раздражен, мы чуть не поссорились, но все кончилось мирно. Царь и не думал к нам обращаться, премьером был назначен Трепов, никакого сближения с Думой не последовало.

Однако это столкновение было предупреждением, кое нами учтено не было. В результате — в решительный момент, 27 февраля 1917 г., Родзянко выступил единолично от имени Государственной Думы и тем сыграл решающую роль для торжества революции. Его голос был принят за голос народного представительства и Царем, и особенно высшим

командным составом армии, и это заблуждение явилось решающим фактором в пользу революции.

Теперь я жалею, что содействовал срыву политики Гучкова на конференции. Тогда бы Родзянко в феврале 1917 г. во главе Думы не было.

Весною 1912 г. после четырех с лишком месяцев, проведенных в госпитале, я наконец вернулся домой. Еще приходилось лежать большую часть дня, но дело шло явно на поправку, силы прибывали, вернулся интерес к политическим вопросам, к повседневной борьбе в Думе.

Конечно, я сам в ней принимать участия еще не мог, но уже лихорадочно следил по газетам, что там происходило. Мои товарищи по фракции меня навещали, рассказывали о текущих событиях, и я их всегда ожидал с нетерпением.

Однажды ко мне заехал Гучков. Я как раз лежал в постели, он уселся рядом и прежде всего задал вопрос, можно ли мне вести серьезный разговор, который может меня взволновать. Я видел, что у него какой-то особый, взволнованный и расстроенный вид, что он переживает что-то такое, что его потрясло, что вызвало чрезвычайную реакцию. Я его часто видел за последние годы, но таким еще не приходилось его наблюдать. Было ясно, что в его душе зреет какое-то важное решение, которое еще не выкристаллизовалось, не определилось, что он еще не знает, как поступить.

Конечно, я стал настаивать, чтобы он мне сообщил, в чем дело.

Тогда он рассказал следующее:

Из очень осведомленного и безусловно надежного источника он узнал, что наши военные тайны, наиболее секретные данные, становятся известны штабам соседних империй. Это обстоятельство

очень взволновало военные круги, кои приняли меры к выяснению путей и каналов, по которым происходит утечка военных секретов. Началась тщательная слежка, напряженная работа контрразведки. Мало-помалу картина начала раскрываться, все нити приводили к центру, откуда происходила утечка. Постепенно добираясь до источников германско-австрийского осведомления, убедились, что оно происходит из непосредственного окружения военного министра, ген. Сухомлинова. Около него вертелось несколько лиц, безусловно, подозрительных и с моральной стороны, и с точки зрения их лояльности Русскому государству.

За ними была организована слежка, которая привела к убеждению, что виновниками проникновения за границу наших секретов могут быть два лица: бывший жандармский офицер Мясоедов и иностранный подданный Альтшиллер.

Оба они были очень близки военному министру, постоянно находились около него, пользовались его неограниченным доверием. Жена Сухомлинова была дружна с женою Мясоедова, нерусской по происхождению. Альтшиллер оказал какие-то услуги супругам Сухомлиновым и теперь пользовался их преданной дружбой. Между тем наша контрразведка установила, что они, особенно Мясоедов, являются тем каналом, по которому доходят до сведения соседей наши тайны. Тот высокопоставленный военный, который передал Гучкову эти сведения, сказал, что доверие Сухомлинова к его друзьям таково, что попытки обезвредить подозрительных лиц ни к чему не привели. Отчаявшись что-либо сделать своими силами, военные решили обратиться к помощи члена Государственной Думы.

Гучков немедленно поехал к председателю совета министров, рассказал ему все это. К его крайне-

му удивлению, премьер ответил, что правительство обо всем уже осведомлено, но попытки вмешательства ни к чему не привели. Он не скрывал своего раздражения против Сухомлинова, но доказывал, что сделать ничего не может ввиду отношения военного министра к вопросу. Обращаться к Верховной Власти бесполезно, дело касается военного ведомства, глава коего пользуется неограниченным доверием Государя, поэтому последнее слово будет принадлежать Сухомлинову, ответственному за интересы обороны страны.

Вот после этого разговора Гучков решил приехать ко мне посоветоваться, что теперь надо сделать. Он еще ни на чем окончательно не остановился, но у него бродит мысль поехать к главному военному прокурору и подать ему официальное обвинение Мясоедова в шпионской деятельности. Он думал, что прокурор может допросить кого нужно и вскрыть все нити преступления.

Я решительно против этого возражал, говоря, что все дело в том, может ли Гучков в своей жалобе или в объяснение ее сослаться на тех лиц, которые дали ему обвинительный материал. Если нет, если эти лица желают остаться в тени, то ничего из подобной жалобы, кроме конфуза, не выйдет. Военный прокурор — человек гибкий, притом зависящий от военного министра, он ничего не сделает такого, что неугодно Сухомлинову. Раз жалоба Гучкова не будет подкреплена фактами или ссылками на источник осведомления, дело будет прекращено и сам он попадет в положение клеветника. Надо избрать какой-то иной путь. Но какой именно, мы так и не смогли окончательно наметить, хотя перебирали все возможности.

Прошло несколько дней, в течение коих я Гучкова не видел. Однажды я был поражен тем, что в

двух газетах, именно в „Вечернем Времени” и в „Голосе Москвы”, появились заметки о наличии шпионажа в военном ведомстве, причем был назван полковник Мясоедов как глава этого шпионажа.

Естественно, это была сенсация, весь город, Государственная Дума, Государственный Совет, все военное ведомство были охвачены как бы лихорадкой. Все знали, что Мясоедов — друг военного министра, тяжкое обвинение, возведенное против друга министра, косвенно было обвинением Сухомлинова в преступном легкомыслии, в пренебрежении интересами обороны, которые ему были доверены. Ждали, что из всего этого выйдет. В частности, в Думе отлично знали, что заметки эти появились под влиянием Гучкова, что это он дал их в редакции. Скандал был громадный.

Мясоедов встретил Бориса Суворина, редактора „Вечернего Времени”, где-то на скачках и побил его. Одновременно он подал жалобу в суд на обе газеты, обвиняя их в клевете.

Вопрос о Мясоедове был поставлен на обсуждение в ближайшем заседании думской Комиссии по обороне государства. Как ни был я еще слаб, на это заседание я поехал.

Сухомлинов явился в сопровождении начальника Генерального Штаба и высших чинов ведомства. Он имел какой-то сконфуженный и вместе с тем озлобленный вид. Он начал с того, что все появившееся в газетах есть выдумка, вздорная ложь, что никогда Мясоедов не имел доступа к тайнам военного ведомства, что он просто физически ничего не мог выдать, так как ничего не знал. Между прочим Гучкову было известно, что однажды военный министр послал Мясоедова отвезти в Париж один сверхсекретный документ, который по дороге мог бы быть открыт противной стороне. Сухомлинов это нацело

отрицал, причем сослался на Жилинского, начальника Генерального Штаба. Тот немедленно пришел на выручку своему начальству и утверждал, что действительно Мясоедов не мог быть в курсе наших секретов, что вся заметка ошибочная.

Попутно был поднят другой вопрос, тоже живо взволновавший комиссию. Гучков сообщил, что в военном ведомстве устроена система политического шпионажа за офицерством, есть организация, занимающаяся этим и ведущая списки лиц, по ее мнению, благонадежных или нет, без апробации этой организации никакое движение по службе больше невозможно, она может затормозить карьеру любого офицера, как бы доблестен он ни был, если только поставленное во главе разведки лицо не даст своего согласия на повышение.

Имя Мясоедова тоже имело какое-то отношение к этой организации. Сухомлинов и тут выступил с категорическим опровержением, сказал, что это все вздор. Тогда Гучков вынул из кармана официальный документ и попросил председателя его огласить. То был секретный циркуляр начальника Главного Штаба, который от имени военного министра давал распоряжение не делать никаких представлений о повышении по службе без благоприятного отзыва органа политического наблюдения за офицерством, т. е. именно того органа, существование коего отрицал министр. Получилось тягостное положение. Министр окончательно растерялся, он начал уверять, что ему ничего не было известно, что циркуляр этот подписан не им, а начальником Главного Штаба без его ведома. Это была явная ложь, никто ей не мог поверить. Она только вселила недоверие к остальным опровержениям министра. Сухомлинов уехал крайне раздраженный, озлобленный против Думы. Комис-

сия разошлась, окончательно потеряв к нему доверие.

Через несколько дней Мясоедов вызвал на дуэль Гучкова. У Гучкова была репутация хорошего стрелка из пистолета, самая дуэль должна была состояться на нарезных пистолетах, условия были тяжелые. Поэтому многие ждали, что она кончится трагически, один из дуэлянтов ляжет. Особенно мало, казалось, было шансов у Мясоедова выйти благополучно из игры. К удивлению всех, поединок оказался бескровным.

Звегинцев, секундант Гучкова, потом рассказывал, что он наблюдал за Мясоедовым, когда тот поднял пистолет и начал целиться. Сперва рука была, видимо, твердая, потом, по мере того как Мясоедов продолжал целиться, она начала дрожать, пистолет как-то заерзал, задрожал. Наконец последовал выстрел, промах. Гучков все время стоял спокойно, а когда пуля пролетела мимо, поднял пистолет и выстрелил вверх. Своим секундантам он сказал, что не хотел стрелять в Мясоедова, так как „тот должен умереть на виселице”.

Публика была убеждена, что привлеченные за клевету газеты будут осуждены, ведь так трудно было их положение. К великому удивлению всего Петербурга, в том числе и членов законодательных палат, суд оправдал газетчиков после того, как Гучков дал показания при закрытых дверях. В чем заключались эти показания, ни я, ни кто-либо другой не знали. Но факт был несомненный: газета обвиняла офицера, близкого друга военного министра, в том, что он шпион иностранной разведки, что он выдавал тайны военного ведомства. Привлеченная за это к суду, газета была оправдана коронным судом.

Ясно, что имелись какие-то основания для выска-

занных ею обвинений. Скандал стал еще больше. Положение Сухомлинова стало трудным. Во всякой другой стране такой исход подобного процесса привел бы к крупным результатам. Самым вероятным исходом был бы вынужденный отказ министра от портфеля, его уход в отставку. Затем, несомненно, везде в мире военная прокуратура заинтересовалась бы делом, начала бы проверку обвинений, возведенных на Мясоедова.

К несчастью для России, у нас ничего подобного не последовало. Сухомлинов постарался замолчать неприятное для него дело. Правительство не имело гражданского мужества его поднять, выяснить до дна. Верховная Власть не реагировала. Все осталось по-прежнему, Мясоедов и Альтшиллер благоденствовали, общественное мнение страны и, в частности, армии было возмущено.

Между тем это дело впоследствии должно было сыграть громадную роль в судьбах России вообще, а монархического режима в частности.

В этот момент решительно все: и мы, и общество, и правительство, и сама Верховная Власть — упускали из виду, что прочность монархической власти зиждется вовсе не на одной физической силе штыков или полиции, что главную опору ее составляет некоторая мистическая вера в то, что монарх есть высший блюститель интересов народа и государства, что он выше интересов частных, партийных или личных, что он есть „первый слуга России”, как то не раз провозглашали русские цари. Тяжкое обвинение, возведенное на окружение военного министра, которое налагало и на него самого подозрение в непростительном легкомыслии и пренебрежении интересами государства, должно было вызвать вмешательство власти, поставленной на страже высших интересов страны. Этого не последовало. А между

тем через два года с небольшим во время начавшейся войны этот самый Мясоедов, устроенный на какое-то ответственное место его другом Сухомлиновым, был обвинен в шпионской работе, судим и приговорен к виселице.

Это обстоятельство показало обществу и армии, что возведенные Гучковым на окружение Сухомлинова обвинения имели под собой полное обоснование.

Отсюда один шаг до мысли, что правительство и Верховная Власть, не пожелавшие вовремя раскрыть истину, не выполнили своей обязанности перед страной. Это обстоятельство отягчалось тем, что Сухомлинов продолжал оставаться военным министром, несмотря на то, что все усиливавшиеся вопли с фронта открыли страшную картину провала снабжения армии боевыми припасами и оружием.

Все это вместе взятое способствовало созданию условий, которые привели к крушению престижа царской власти в самый страшный для России и династии момент.

В заключение следует добавить, что Гучков свято хранил в секрете имя того военного, кто ему сообщил данные о Мясоедове и К^о. Сухомлинов заподозрил, что источником сведений был ген. Поливанов и добился его увольнения. Только в изгнании я узнал, что все эти сведения шли от ген. Иванова, командующего Киевским военным округом.

В поисках Правды

Книготороварищество „Москва — Иерусалим“ опубликовало книгу Эдуарда Кузнецова „Русский роман“. Название довольно символично, хотя ему больше бы подошло прилагательное не „русский“, а „советский“, потому что вся фабульная трагедия построена на провокации, типично советском феномене жизни...

В коротком романе Кузнецов описал историю трех поколений одной советской семьи. История бабки Дмитрия (главного героя романа) — Веры Никандровны — достаточно типична. Ее муж погиб голодной смертью на Воркуте. Ее не арестовали, и она уехала в Челябинск, к гимназической подруге, а оттуда перебралась подальше, в приуральскую деревню, где и стала учительствовать. О рождении внука и смерти дочери она узнала, будучи уже в ссылке, от тетки. Умер Сталин. В 1954 году Вере Никандровне отменили ссылку, и она приехала в Москву. Сын Веры Никандровны — Николай Парфенович — возвратился из лагеря без ноги: он сунул ее под вагонетку, чтобы избавиться от работ на лесоповале и в шахте, где бы он долго не протянул, а так, с одной ногой, выжил. Он участвовал в испанской войне и знал английский язык, из-за этого злочастного языка его и обвинили в шпионаже... Его жена Валя забеременела в лагере. Так что, все Митино семейство пережило лагерь, и сам он — лагерного происхождения.

А дальше начинаются приключения главного героя. Он ищет свое предназначение в жизни, влюбляется, разочаровывается, поступает в университет, и все как будто идет как надо. Но Дмитрия никуда не влечет, ничто его не занимает. Сюжет в романе почти отсутствует, ибо он теряется в бесконечных рефлексиях и почти натуралистических описаниях сцен советской жизни: вокзальное, уличное, трактирное хамство, везде — непроходимый мат... Но постепенно начинаешь

Эдуард Кузнецов. Русский роман. Книгоиздательство „Москва — Иерусалим“, 1982.

понимать, что это и есть сама жизнь — серая, беспросветная, — в которой у героя и появляются настоящие трагедии. Но и эти трагедии буднично проходят по жизни. В романе происходят преступления без наказания. Вернее, наказание есть, но его несет невинный человек — наш герой, — обвиненный в воровстве у пьяной старухи сумочки с кошельком (в котором всего-то и было 1 рубль 60 копеек) и осужденный на 5 лет лагерей. Дмитрий — благородный человек, идеалист, романтик, рыцарски выручающий незнакомую девушку, отдавая ей свои последние деньги, — становится жертвой провокации, устроенной (с помощью двух жуликов) его знакомым, желающим отнять у него его возлюбленную.

Митю выпускают на 10 месяцев раньше срока, по амнистии. Он возвращается в Москву. Жизнь его сломана, он не знает, с чего начинать. Он ищет встречи со своей возлюбленной. У нее за это время уже родился ребенок, она стала модной дамой, часто выезжающей с мужем за границу. Но Митю она все еще любит, и они снова встречаются. Митя болезненно переживает утрату любимой, он хочет понять, когда и в чем он сделал ошибку, и ничего не может предпринять: у него по-прежнему нет ни дома, ни денег, ни положения, — кроме любви, он ничего ей не может дать. Нерешительность и безволие толкают его к собутыльникам, в вине он хочет утопить свое горе, забыть свои несчастья. Через Митины похождения, через круг его друзей Кузнецов проводит нас по всем тем люмпенским московским закоулкам, по которым тащится его герой. Через эти встречи автор показывает советских людей, тут мы видим советское общество на всех его уровнях, от интеллигентского сборища с литературно-псевдофилософскими разговорами до простого вокзального люда, до уличных и вокзальных проституток, с которыми встречается спившийся Митя. Картины пьянок, взаимоотношений, разговоров, кабаков описаны Кузнецовым натуралистически подробно, временами даже с нарушением чувства меры.

Однажды ночью, вернее на рассвете, он встретился с девушкой по имени Психа. Здесь — начало новой драмы нашего героя. Драма жуткая, достойная пера Достоевского, но без нравственных взлетов. Здесь — страшные факты, которые никого не мучают. Они происходят и не вызывают угрызений совести. Просто начинаются и также обыденно кончаются. И в этой будничности преступления вся безысходность

жизни, в которой нет ни морали, ни раскаяния. Напротив, жертва и объявляется во всем виноватой.

К концу романа Дмитрия постигают новые бедствия. Находится его сестра, которая поселяется у него. Психа оказалась ее дочерью. Но трагедии, некогда потрясавшие античный мир, здесь выглядят буднично: узнав о кровосмесительстве, герой валится на пол скорее от пьяной одури, чем пораженный услышанным.

Последние страницы романа посвящены описанию природы, которая выглядит так же зловеще, как и сам конец главного героя...

Бессмысленная жизнь, бессмысленная смерть. Он ничего не сделал в своей жизни, ни на чем не утвердился. И в этой бессмыслице весь ужас его жизни. О нем заботились друзья, пытаясь вывести его из губельного внутреннего состояния, но все усилия были напрасными. Человек должен сам себе помочь, чтобы вылезти из ямы. И тут никто ему не в помощь — ни Бог, ни друзья, ни собутыльники.

Безысходность Митиной судьбы — это безысходность всех русских мальчиков, которые, как выразился в свое время Писарев, „во щенках заморены”, не удосужившись стать мужами, погибают, сраженные неумолимой, страшной, советской сегодняшней жизнью.

В описании природы, людей, лиц, — на всем лежит серый цвет, скучные лица, безысходная тоска. Митя — неудачник, типичное явление для русской литературы, которая любила героев-неудачников. В этой современной, советской действительности идеалисту Мите нет места, он не видит для себя выхода, в ней все растоптано: честь, мораль, любовь, привязанность, гостеприимство, семья, правосудие, культура, религия, интеллигенция, превратившаяся в рефлектирующих болтунов, рядящихся то „под Джойса”, то „под Хэма”, то еще под кого-то...

Писатель разворачивает перед нами сцены жизни провинциального города, показывая обобществленный быт советских тружеников, советские „общаги”:

„Главная иванеевская диковинка „Спальни”: приземистое строение из бурого кирпича, замечательно длинное и без единой кривинки — памятник пламенным двадцатым, когда партком заведовал всеобщим смыслом жизни (совсем по-платоновски). Замышлялись пять этажей, куда вселился бы весь иванеевский класс трудящихся для прохождения счастливой жизни сообща, но пришлось ограничиться

одним этажом, поскольку сперва выявился вредительский неурожай кирпича, а потом и самого прораба уличили в шпионстве в пользу белопанской Польши, а также Японии, якобы страны восходящего солнца. Комнатки в „Спальных” так себе, обыкновенные... Местный пролетариат так и остался в своих старорежимных избах, а „Спальни” оккупирует пролетариат привозной, женский значит. Ветеранам — льгота: комната на двоих, а прочие живут веселее — вшестером...”

Кузнецов описывает быт советских людей без иронии и сарказма, он его списывает с натуры.

Но совсем другое описание условий жизни советских тружеников мы находим в журнале „Огонек”:

„Трудно вообразить, но американцы просто не могут понять, что такое, например, „получить квартиру”. Как так — „получить”? В их головах не укладывается, что человек может получить квартиру от государства. И таких реально-стей, обиденных для советского человека, просто не счесть. И нет в их словаре слов...”

Митя комментирует эту статью: „В самом деле, нет в их словаре многих слов. Ну, как, например, переведешь хотя бы: „в магазине выбросили сапоги”?”

Здесь Кузнецов соединяет лицом к лицу Правду и ложь. Ложь журналиста, который выполняет социальный заказ своих правителей и за это получает квартиру, поездки за границу, высокую зарплату, — и Правду, которую так безуспешно отстаивает одинокий герой. Обществу правда не нужна, и Митя выглядит в глазах своих друзей Дон-Кихотом.

И все же, главный герой Э. Кузнецова — ищет и открывает то, что называется совестью. А только открытие совести, это, по словам Г. Федотова „величайшее открытие в послереволюционной России”*, может послужить мостом между Россией прошлого и — Россией будущего. Если так рассматривать замысел автора, то тогда — действительно, новое его произведение не „советский”, а „русский роман”.

Ф. Закаржевская

* Г. П. Федотов. Тяжба о России. ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1982.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

В связи с заменой материалов, произведенной редакцией в момент, когда №126 «Граней» находился уже в печати, помещенное в этом номере «Содержание с №123 по №126» вышло в свет с ошибками:

вместо

МАРКИШ Давид. Две главы из романа о Петре I (стр. 291, раздел «Проза»)

Маркиш Давид, 126 (стр. 294, «Указатель имен авторов»)

должно быть

СВЕТОВ Ф. Хорошо гуляли!

Светов Ф., 126

На стр. 293 следует также убрать первые три строки раздела «Библиография», а на стр. 291 в раздел «Поэзия» добавить: ПРИГОДИЧ Василий. Из книги «Картонные личины», 126.

Приносим наши глубокие извинения читателям и авторам.

Редактирует редакционная коллегия

Главный редактор Р. Н. Редлих

Заместитель главного редактора Н. Рутыч

Ответственный секретарь Д. Мусина

Адрес редакции журнала «Грани»:

Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

**А. Kandaurow c/o «Possev-Verlag»
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

К настоящему времени выпущены следующие сборники «Граней»:

- ☐ Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
- ☐ Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
- ☐ Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77
- ☐ Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70
- ☐ Сборник № 5 — избранное из №№ 53-68

Редакция

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 56 н. м.
через магазины — 70 н. м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:
в издательстве — 72 н. м.
через посредников — 84 н. м.

«НАДЕЖДА»

Христианское чтение

За 3 выпуска при подписке:
непосредственно в издательстве — 60 н. м.
через представителей — 72 н. м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
„ГРАНИ” — 17.50 н. м., „ПОСЕВ” — 7 н. м.
НАДЕЖДА” — 24 н. м.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.